

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 8

1986



Владимир СОЛОУХИН

**ПРИЙТИ
И ПОКЛОНИТЬСЯ**

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 8

Владимир СОЛОУХИН

ПРИЙТИ И ПОКЛОНИТЬСЯ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1986

Владимир СОЛОУХИН

Владимир Алексеевич Солоухин родился 14 июня 1924 года в селе Алепине Владимирской области в крестьянской семье. Окончил механический техникум во Владимире в 1942 году с дипломом техника-технолога по инструментальному производству. С 1942 по 1946 год служил в рядах Советской Армии.

После демобилизации учился в Литературном институте им. Горького. С 1951 года семь лет работал в журнале «Огонек» корреспондентом-очеркистом. Член КПСС с 1952 года, член СП СССР с 1954 года. В 1979 году В. А. Солоухину за повести и рассказы присуждена Государственная премия РСФСР. В 1984 году награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В. А. Солоухин — автор многих книг стихов, рассказов, очерков, повестей, статей, этюдов о природе, о русском искусстве. Главные из них: «Владимирские проселки», «Капля росы», «Письма из Русского музея», «Черные доски», «Третья охота», «Трава», «Под одной крышей», «Бедствия с голубями», «Лирика»...

В 1984 году вышло собрание сочинений В. Солоухина в четырех томах.

ЗОЛОТАЯ ЧЕКАНЬ

«Леонов и кино», «Леонов и зарубежная литература», «Театр Леонова», «Леонов-публицист», «Язык Леонида Леонова», «Леонов-гражданин», «Труд в произведениях Леонова», «Традиции Достоевского в произведениях Леонова», «Леонов-художник», «Леонов-литературовед», «Коренные проблемы современности в произведениях Леонова», «Творческий путь Леонида Леонова», «Леонов как общественный деятель», «Леонов и литературная молодежь»...

Перечень тем, которые напрашиваются, когда думаешь о Леониде Леонове, и каждая из которых годилась бы то ли на большую обстоятельную статью, то ли на диссертацию, можно было бы продолжить. Ну, скажем, «Композиционные особенности романов Леонова», «Леонов в годы войны», «Русская природа в произведениях Леонида Леонова»...

Принято считать мастерами пейзажа Пришвина, Паустовского. Но дело лишь в пропорции, в том, что у Леонова пейзаж никогда не был самоцелью. Усилия Леонова прилагаются к точкам, находящимся в глубинах человеческой психологии. Но вообще-то говоря, если взять отдельно иные пейзажные абзацы леоновской прозы, то увидишь, что не все мастера пейзажа достигали той чистоты в сочетании со строгостью, той полнокровной яркости в сочетании с точностью, которая присуща Леонову, хоть он и не ходит в записных пейзажистах.

Пришвин более достоверен, Паустовский же более романтик.

У Леонова оба эти элемента — скрупулезная, зачастую ботаническая точность и дыхание романтики, поэзии — находятся в едином нерасторжимом сплаве. «Да и теперь еще в грозу, как поразойдутся, как заскрипят с ветром в обнимку енежские-то боры, как дохнут раскаленным июльским маревом, так даже подушки три ночи подряд пахнут горячим настоем земляники и хвои...»

За точностью, за потрясающей художественной и исследовательской точностью можно обращаться практически на любую страницу любого леоновского романа. Вспомним на этот раз, как лесоторговец Кнышев рубил могучую древнюю сосну, считавшуюся матерью большого леса — Облога.

« — Теперь раздайся маненько, православные, — тусклым голосом сказал Кнышев, спускаясь по ступенькам. — Дакось и мне чуток погреться!

Неожиданно для всех он сбросил с себя поддевку и остался в белой, кипеня белей вышитой рубахе, опоясанной кавказским ремешком с серебряным набором. Десяток рук протянул ему сточенные карзубые пилы; он выбрал топор у ближайшего, прикинул на вес, одобрительно, на пробу, тронул ногтем лезвие, прозвеневшее, как струна, плюнул на ладонь, чтобы не скользило, притоптал снежок, где мешал, прислушался к верховому шелесту леса и неторопливо, как на эшафоте, с маковки до пяты оглядел свою жертву. Она была неслыханно хороша сейчас, старая мать Облога, в своей древней красе, прямая, как луч, и без единого порока; снег, как розовый сон, покоился на ее отяжелевших ветвях. Пока еще не в полную силу, Кнышев размахнулся и с оттяжкой на себя, как бы дразня, ударил в самый низ, по смолисто-му затеку у комля, где, подобно жилам, корни взбегали на ствол, а мальчик Иван чуть не ахнул от удивления, что кровка не забрызгала ему рук.

— Вот как ее надоть, — наставительно промолвил Золотухин. — Учитесь!

Сперва топор отскакивал от промерзлой заболоты, но вдруг железо остервенилось, и в воздухе часто засверкала мелкая, костяного цвета щепка. Сразу, без единой осечки, образовался узкий, точный выруб, и теперь нужна была особая сноровка, чтобы не увязить в древесине топора. Звонкие вначале удары становились глуше по мере углубления в тело и, подобно дятловому цокоту, отдавались в окрестности. Все замолкло кругом, даже лес. Ничто пока не могло разбудить зимнюю дрему старухи... но вот ветерок смерти пошевелил ее хвою, и алая снежная пыль посыпалась на взмокшую спину Кнышева. Иван не смел поднять головы, видел только краем увлажнившегося глаза, как при каждом ударе подскакивает и бьется серебряный чехолок на конце кнышевского ремешка.

Зато остальные пристально наблюдали, как разминается застоявшийся купец. По всему было видно, что он хорошо умел это, только это и умел он на земле. В сущности, происходила обычная валка, но томило лесорубов виноватое чувство, будто присутствуют при очень грешном, потому что вдобавок щеголеватом и со смертельным исходом баловстве... И хотя Кнышев действовал без передышки, все понимали: он несколько подзатыгивает свое удовольствие, что простые люди никогда не прощали и заправским палачам... Чтобы довершить дело, купец перекинулся на другую сторону: до конца оставалось стукануть разок-другой. Никто не слышал последнего удара. Кнышев отбросил топор и отошел в сторону; пар валил от него, как в предбаннике. Подоспевший Золотухин молча накинул поддевку на его взмокшие плечи, а Титка звучно раскупорил ту плоскую, серебряную, неусыхаю-

щую. Сосна стояла по-прежнему, вся в морозном сиянии. Она еще не знала, что уже умерла.

Ничто пока не изменилось, но лесорубы попятились назад.

— Пошла-а...— придруженно шепнул кто-то над головой Ивана.

Всем ясно стало, что когда-то и Кнышев добывал себе пропитание топориком, и теперь интересно было проверить степень его мастерства: соскользнув с пня при падении, сосна, как из пушки, могла отшвырнуть калинову скорлупку... Еле заметное движение родилось в ветвях, что-то деловито хрустнуло вниз и мелкой дрожью отозвалось в вершине. Сосна накренилась, все вздохнули с облегчением: второй заруб был чуть выше начального, лесина шла в безопасную сторону, опираясь в будущий откол пня. И вдруг целая буря разразилась в ее пробудившейся кроне, ломала сучья, сдувала снег,— сугробы валялись наземь, опережая ее падение... Нет ничего медленней на земле, чем падение дерева, под чьей сенью посещали тебя смутные грезы детства!*

Можно точно узнать, почему фарфоровая чашка звенит, а глиняная издает глухой звук. Но почему одни фразы бывают живыми, упругими, звонкими, а другие хилыми, вялыми и глухими, мы не узнаем никогда. Дело вовсе не в глухих и звонких согласных. Каждое слово будет звенеть, нужно только поставить его на место. Слова одинаковы, но в одном случае из них получается тончайший фарфор, а в другом случае — сырая, необожженная глина. Один поет, а другой хрипит. Один чеканит, а другой мнет и мямлит. Одна строка вся светится изнутри, другая тускла. Одна похожа на драгоценный камень, другая — на комок замазки. И никто в точности не может сказать, от чего это все зависит. То есть известно, конечно, что зависит это от мастерства, но что есть мастерство? Талант и труд, как сказал сам Леонов.

Разве не правда, что нам теперь как-то все некогда? Разве не правда, что под влиянием все более убыстряющегося, все более нервного ритма жизни на нашей планете появилась тенденция ограничивать дело наметками, набросками, конспектами и выставляя это напоказ как готовое искусство? Вместо того чтобы написать роман, иные писатели скороговоркой, рублеными, бескровными фразами пересказывают его содержание.

Встретясь с собратом по перу, заводишь разговор, кто как пишет.

— Ты пишешь сразу на машинке? — спросил я у одного хорошего знакомого и весьма популярного писателя.

— Что ты?! — удивился мой собеседник. — Пишущая машинка — это каменный век! Теперь, брат, другая техника. Я, например, вешаю себе на грудь портативный магнитофон, хожу по дачному участку и в течение двух-трех часов наговариваю на пленку. Потом пленку отдаю стенографистке, она переписывает, я прочитываю, кое-что поправляю...

Как же удивительно после этого разговора было мне, подойдя однажды к рабочему столу Леонида Максимовича Леонова, увидеть писаную-переписанную, черканую-перечерканную страницу рукописи.

— Вы много черкаете,— заметил я тогда.

— Да, я работаю строго,— ответил мастер. Помолчав, добавил: — Я переписываю страницу до тех пор, пока на ней не останется ни одной помарки.

Да и то сказать, в какой магнитофон можно наговорить хотя бы ту хрестоматийную, хрустальную страницу, которую я выписал, рядовую страницу леоновской прозы, пленительного леоновского письма!

«Истинное произведение искусства,— учит Леонов,— произведение слова — в особенности, есть всегда изобретение по форме и открытие по содержанию, а на это требуется время. В отличие от тыквы, за один сезон достигающей похвальных результатов, произведение словесного искусства вырастает как плодородное дерево. Подобно любви, оно начинается с робкого предчувствия, с семечка в душевной борозде. И потом надо долго питать его соками души, бережно холить молодую крону, однако,— с безжалостной прорезкой загущений и в постоянной тревоге за урожай, столь ненадежный в нашем суровом, континентальном климате...»

У некоторой части литераторов, поэтов в особенности, существует убежденность, что большими знаниями можно погубить поэзию, что, приобретая знания, можно утратить непосредственность восприятия мира, способность удивляться. Но дровами можно завалить и потушить только слабенький огонь. Большой полыхающий костер дровами не завалишь. Он разгорится еще ярче.

Маршал бронетанковых войск полушутя-полусерьезно предлагал Леонову после «Взятия Великошумска» солидное воинское звание, ибо и стратегию танковых боев, и то, что называется материальной частью, и общие проблемы в танковой области Леонов изучил не хуже, а, может быть, лучше специалиста.

В период написания «Дороги на Океан» он был сведущ в хирургии почек не меньше медиков-профессионалов. Читая повесть «Евгения Иванюча», убеждаемся, что Кахетию писатель изучил с дотошностью краеведа-энтузиаста. Надо ли говорить, что в вопросах лесоустройства и лесопромысла автор «Русского леса» разбирается с осведомленностью лесоводов и лесопромышленников.

Лекция Ивана Вихрова о русском лесе составила бы честь одновременно историку ранга Ключевского и биологу ранга Тимирязева. Да кроме того, по своей поэтичности, по своей художественной выразительности она достойна пера писателя ранга... Леонида Леонова.

Не рыхлыми волокнами помянутой тыквы или даже иного короспелого дерева ложатся в годовичные кольца слова, страницы,

романы этого мастера. И когда время сделает срез, откроется полированная поверхность, где четко отделятся кольцо от кольца, как на срезе секвойи, дуба или железного дерева.

Он весь — от поступка до строки, проявившейся на бумаге, — замешен круто. Тут не годится шуточный французский рецепт, по которому будто бы производится расхожая беллетристика: «Немного сливок, немного сахара и как можно дольше взбалтывать». Тут скорее вспомнишь добротную русскую лепешку: «Откусишь с горошину, а нажущешь полон рот».

Леонова принято считать первым в стране защитником наших страждущих лесов, наших страждущих рек и нашей страждущей природы вообще. Но неужели такой талантище, оснащенный всесторонними широкими знаниями, оснащенный точнейшим снайперским мастерством, употребляется на цель в конечном счете утилитарную, как бы она ни была важна для настоящего и будущего земли? На цель, что бы там ни говорить, узковатую для такого человека, в звании такого художника? (Словечками «такого» я оставляю места для эпитетов, полагая, что эпитеты — крупный, крупнейший, выдающийся, огромный... — распределяет будущее. Антон Павлович Чехов впервые был определен официально великим русским писателем в 1954 году на страничке отрывного календаря, называемого численником.)

Итак, не слишком ли узка цель — защищать реки и леса для художника такого масштаба?

Обращаемся еще к одному образцу леоновской прозы, который так же, кстати сказать, как и первый, мог бы и должен украшать все наши школьные хрестоматии и книги под названием «Родная речь».

«...голос падающей воды позвал мальчиков вниз. Они спустились и стояли со склоненными головами, как и подобает паломникам у великой святыни.

— Вот оно... — торжественно и непонятно шепнул Иван.

Это был всего лишь родничок. Из-под камня, в пространстве не больше детской ладони, роилась ключевая вода. Порою она вскипала сердитыми струйками, грозясь уйти, и тогда видно было, как вихрились песчинки в ее размеренном безостановочном биенье. Целого века не хватило бы наглядеться на него. Отсюда начинался ручей, и сперва его можно было хоть рукой отвести, но уже через полсотни шагов рождалось его самостоятельное журчанье по намытой щбенке. То была колыбель Склани, первого притока Енги, а та, в свою очередь, приходилась старшей дочкой великой русской реке, расхлестнувшей северную низменность на две половины, так что полстраны было окроплено живой водой из этого овражка. Без нее не родятся ни дети, ни хлеб, ни песня, и одного глотка ее хватало дедам на подвиги тысячелетней славы. Не виднелось ни валов земляных, ни крепостных стен поблизости, но все достояние государства — необозримые пашни

с грозами над ними, книгохранилища и могущественная индустрия, лес и горы на его рубежах — служат родничку прочной и надежной оболочкой. И, значит, затем лишь строит народ неприступные твердыни духа, и хмурое войско держит на своих границах, и самое дорогое ставит в бессонный караул, чтобы не пробралась сюда, не замутила, не осквернила чистой струйки ничья поганая ступня».

Я думаю, что в нашем государстве, охваченном всеобщей грамотностью, не найдется читателя столь наивного, который вообразил бы, что хмурое войско на границах государства впрямь содержится ради неприкосновенности обычного родничка.

Переберем слова, относящиеся к одному и тому же корню. Грамматический корень этот будет «род». Род, родник, родня, родина, родиться, народиться, народ...

Только в этом случае станет вполне понятной сцена, разыгравшаяся у того же самого родника много лет спустя, когда Иван Вихров привел в заветное место своих городских друзей Чередилова и Грацианского. Грацианский всмотрелся как следует в светлые родниковые струи.

«Какая-то смертельная борьба чувств происходила в его побледневшем лице, как если бы перед ним билось обнаженное от покровов человеческое сердце. Словно зачарованный, опершись на свой посошок и сквозь пенсне на шнурочке, он щурко глядел туда, в узкую горловину родника, где в своенравном ритме распахивалось и смывалось песчаное беззащитное лонце.

— Сердитый... — непонятно обнажая зубы, протянул Грацианский и вдруг, сделав фехтовальный выпад вперед, вонзил палку в родничок и дважды самозабвенно повернул ее там, в темном пятнышке его гортани.

Все последующее слилось в один звук: стон чередиловской досады, крик Вихрова — я убью тебя! — и хруст самой палки, скорее разорванной надвое, чем даже сломанной в его руках...»

Когда упала сосна, срубленная самодовольным Кнышевым, маленький Ваня Вихров тоже ведь не остался равнодушным. Он вlepил купцу в щеку камень из рогатки, укусил Титку, пытавшегося его поймать, и был спасен от Титкиной расправы лишь неожиданным заступничеством самого Кнышева, удивившегося, что впервые за его жизнь только этот мальчик пожалел русский лес.

Было бы смешно, если бы и во втором случае Иван использовал детскую рогатку. Гнев его выразился в возгласе: «Я убью тебя!» И в том, что сломал палку негодяя. Но по внутреннему импульсу, по внутренней сути поступки эти одинаковы и, значит, — предполагается — одно и то же вкладывал художник и в трепетный родничок, и в древнюю сосну, которая, как помним, только что не забрызгала кровью руки жестокому палачу.

Способный плюнуть на могильный камень плюнет и на живого человека. Ткнувший палкой в светлое лоно родника ударит палкой же и во все производное от того же корня.

Я выписал пространные цитаты о роднике и лесе потому, что в них звучит основной мотив всего леоновского творчества. «Вор», «Дорога на Океан», «Барсуки», «Соть», «Скутаревский», «Взятие Великошумска», «Русский лес», «Нашествие», «Бегство мистера Мак-Кинли», страстные публицистические статьи — всюду звучит общая эта тема, тема борьбы жестокого, мертвящего, вооруженного (палкой, топором, танками) зла и кажущегося беззащитным светлого трепетания жизни.

Перечисляя все, что стоит на страже светлого родника, Леонов рядом с необозримыми пашнями, могущественной индустрией и хмурым войском упомянул однажды также построенные народом неприступные твердыни духа и силы. Надо полагать, что подразумеваются тут Пушкин и Гоголь, Толстой и Достоевский, Мусоргский, Бородин и Рублев и еще многие, многие того же величия и достоинства воистину неприступные твердыни.

Но жизнь народа, судьба его, история его продолжаютя. Признаем же, что писатель Леонид Леонов возведен и построен народом тоже как твердыня духа и силы, не знающая других задач, кроме задачи защищать свой народ.

Писать о Леониде Леонове трудно. Все основные мысли его сформулированы и закреплены на бумаге им самим. Закреплены в первосортном материале нерасторжимых фраз, в золотой чеканке слова. Так, например, только я хотел сказать о чувстве народа, о чувстве общности с ним, причастности к нему и — еще глубже — о смысле творчества, искусства и самой жизни, как сразу же и вспомнил замечательные слова, которыми как раз хорошо закончить больше эмоциональное, нежели аналитическое высказывание о старшем современнике, друге и учителе:

«...Страшно одинокой капле воды забираться в ледяное поднебесье, скитаться по голубой пустоте, падать, теряться и пропадать во тьме преисподних глубин... пока однажды не осознает себя посланницей материнского моря. И от этой прояснившейся, животворящей связи, от соседства со множеством таких же, туда же несущихся в пространстве сестер вдруг раскрывается смысл неповторимой, отпущенной нам веселой радости — грозно шуметь на гребне штормовой волны, сверкать в радуге, журчать в ручье весеннем и вместе с икольским проливнем разбиваться об иссохшую ниву!»

УРОКИ ТУРГЕНЕВА

Вначале был Пушкин. Пусть и в сельской школе, но учительница на уроках литературы сумела привнести и привить, и «Дубровского» мы знали чуть ли не наизусть. А потом наступил момент:

— Дети, кто помнит, сколько крепостных было у Троекурова?

Как не помнить? Троекуров — это олицетворение богатства, крепостничества, барства, могущества, почти бог земной... Множество рук поднялось в классе:

— Восемьсот, восемьсот крепостных было у Троекурова.

— Ну так вот. У Ивана Сергеевича Тургенева, которого мы сейчас будем проходить, вернее у его матери, было две тысячи крепостных. Сейчас я вам вслух прочитаю его рассказ «Муму».

Через несколько минут в дальнем углу в классе послышались всхлипы.

— Ты что, Барсукова?

— Жалко...

— Собачку жалко, Муму?

— Нет... Герасима.

Так с самого начала и на всю жизнь вошло и осталось в сознании светлое, доброе (пробуждающее светлые мысли и добрые чувства) имя — Тургенев, Иван Сергеевич Тургенев.

И ведь ни у кого, я помню, не возникло недоумения: как же так? У самого две тысячи крепостных, а пишет против крепостного права. Уже знали и помнили мы и «Во глубине сибирских руд», и про звезду пленительного счастья, и был уже Лермонтов, а теперь вот — Тургенев.

Воспринято как данность с самого начала и на всю жизнь: вне борьбы за справедливость, вне борьбы против насилия русского писателя не бывает и быть не может. Остальные, как бы они ни назывались и сколько бы их там ни было, не писатели, а только приспособленцы.

Таков был первый урок, преподанный Иваном Сергеевичем Тургеньевым.

Тургенев по чисто временной протяженности (хоть и умер отнюдь не в преклонном возрасте) — это целый 19 век русской литературы и общественной мысли, век бурления, становления, расцвета.

Своим началом (биографическим) Иван Сергеевич касается Жуковского, Крылова, Пушкина, Кольцова, Лермонтова, а в конце биографии он достигает имен Репина, Верещагина, Тенишевой, Третьякова, Кони, Саввы Мамонтова, скульптора Антокольского.

Жуковского и Крылова он успел увидеть хотя бы мельком, Пушкина — дважды, да еще третий раз — в гробу. Добавим, вспомнив, что именно молодой Тургенев, юноша 19 лет, попросил слугу, чтобы тот срезал у покойного прядку волос и дал ему. Эту прядку потом Иван Сергеевич хранил как святыню. Он в то время не написал еще ни строки, но символически, как бы даже эстафетно, соприкосновение двух великих служителей русской литературы состоялось.

Ну, а Репин приезжал к уже знаменитому Тургеньеву в Париж, чтобы по просьбе Третьякова написать портрет Ивана Сергеевича.

Что же в середине, на протяжении жизни? Доподлинно известно. Гоголь, Белинский, Плетнев, Некрасов, Грановский, Станкевич, Герцен, Огарев, Григорович, Бакунин, Аксаковы, Гончаров, Писарев, Панаев, Островский, Добролюбов, Фет, Глеб Успенский, Щепкин, Полонский, Боткин, Достоевский, Толстой... Целый 19 век русской литературы и общественной мысли. Дело не только в том, что Тургенев был знаком, дружен, находился в тесных или сложных отношениях со всеми этими людьми. Но и в том, что они все взаимодействовали духовно, умственно и просто по-житейски с Тургеневым.

Можно сказать, что Тургенев как крупнейшее явление отечественной культуры создан (исключая врожденные качества, талант) двенадцатым веком, но ведь и 19 век отечественной культуры во многом образовывался, одухотворялся, активизировался, создавался деятельностью Тургенева. Каждый человек, имена которых были только что перечислены (а этих имен значительно больше, чем перечислено), и влиял на Тургенева и был подвержен его влиянию.

Вот книга — «Лев Николаевич Толстой в воспоминаниях современников». Открываем указатель имен и видим, что Тургенев фигурирует в книге пятьдесят семь раз на пятидесяти семи страницах. Я думаю, что с книгами о других писателях было бы то же самое.

Тургенев служил не только литературе. Сам он сказал: «Бывают эпохи, где литература не может быть только искусством, а есть интересы выше поэтических интересов. Момент самосознания и критики так же необходим в народной жизни, как и в жизни отдельных лиц». И это еще один урок.

«В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя: враг этот был — крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решил бороться до конца — с чем я поклялся никогда не примиряться... Это была моя Аннибаловская клятва...»

Но служить этой своей цели Тургенев мог только при помощи литературы, другого оружия и средства в его руках не было, то есть, значит, в конечном счете он служил литературе. Он служил ей до 1861 года, когда его «аннибаловская клятва» была, так сказать, в действии, он служил ей и после, до конца дней своих. Уж будто не за что стало бороться русской литературе после отмены крепостного права, будто могло или может быть такое время, когда русской литературе не за что и не против чего бороться! Литература была для Тургенева то самое святое и самое важное, чему подчинялась вся его жизнь, каждое его дыхание, каждое биение его благородного сердца. Ради литературы он то и дело смирял сам себя в отношениях с друзьями, ломал свой характер, шел на личные компромиссы. Особенно ярко это видно в его сложных отношениях с Толстым.

Как известно, Тургенев одним из первых заметил начинающего писателя и предрек ему великое будущее. «Этот офицеришка нас всех

заклюет». Известно, что, возвратившись из Севастополя в Петербург, Толстой остановился прямо у Тургенева на квартире.

В дальнейшем между ними создались тесные отношения, и тут выявилось вдруг, что они в тесных и личных отношениях чем-то несовместимы. Разъехавшись и разойдясь, они начинали писать друг другу, извиняться, смягчать и сглаживать, но стоило им увидеться, сойтись вместе, как тотчас же возникало раздражение, а затем и ссоры, одна из которых совсем было привела к дуэли.

Точно не скажешь, откуда бралась эта несовместимость. Предположение некоторых литературоведов, что Тургенев ревновал к славе Толстого и был уязвлен тем, что ученик превосходит учителя, я считаю несостоятельным. Скорее Тургенев (опять же беззаветно служа русской литературе) был недоволен тем, что величайший художник, вместо того чтобы заниматься делом, начал морализировать, теоретизировать, ушел в богоискательство, в распри с церковью, в нравоученья. Толстого, в свою очередь, могли раздражать постоянные упреки Тургенева. Так или иначе, дело дошло до вызова на дуэль. Надо сказать, что оба эти великана (а вели они себя в этой истории, как дети) в конце концов отнеслись к своим судьбам (и судьбе литературы?) серьезно и сделали все, чтобы ликвидировать конфликт, хотя прежней теплоты и близости между ними быть уже не могло.

И вот Тургенев умирает в Париже. Он понимает, что ему остались считанные дни и часы. И чем же он озабочен? Он просит отослать письмо в Россию. «Пожалуйста, пошлите его поскорее, это очень, очень нужно». А вот и само письмо.

«Милый и дорогой Лев Николаевич... Пишу я Вам собственно, чтобы сказать Вам, как я был рад быть Вашим современником,— и чтобы выразить Вам мою последнюю искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной деятельности!.. Ах, как я был бы счастлив, если б мог подумать, что просьба моя так на Вас подействует! Друг мой, великий писатель Русской земли — внемлите моей просьбе!..»

Разве может кто-либо из писателей или просто людей не воспринять это как еще один урок Ивана Сергеевича.

Как раз здесь хорошо вспомнить и еще одно его последнее напутствие: «Мне хочется только перед прощанием сказать несколько слов моим молодым современникам — моим братьям, вступающим на скользкое поприще литературы... Нужно постоянное общение со средою, которую берешься воспроизводить: нужна правдивость, правдивость неумолимая в отношении к собственным ощущениям; нужна свобода, полная свобода воззрений и понятий — и, наконец, нужна образованность, нужно знание!.. Учение — не только свет, по народной пословице, — оно также и свобода. Ничто так не освобождает человека, как знание, и нигде так свобода не нужна, как в деле искусства, поэзии... Может ли человек «схватывать», «уловлять» то, что его окружает, если он связан внутри себя?».

Сам Тургенев был образованнейшим человеком, легко говорил на нескольких языках (впрочем, языки тогда были скорее областью воспитания, нежели образования), учился в Московском, Петербургском, Берлинском университетах. Литературоведению известны вопросы, на которые должен был отвечать молодой ученый, чтобы сдать экзамены на магистра философии (он хотел получить кафедру). Эти вопросы я читал. Не думаю, что каждый из нас, из 9 000 членов Союза писателей, не задумываясь, ответил бы на эти вопросы. Не забудем также, что его личными друзьями и собеседниками были Мопассан, Флобер, Эдмонд Гонкур, Мериме, Додэ, Золя... С Грановским и Белинским они вели темпераментные философские беседы о Гегеле да Канте по пяти часов кряду, на что мы, современные собеседники, тоже едва ли способны.

И вот — парадокс. Оказывается, разносторонние знания нужны художнику лишь как надежный и прочный потенциал, а не как непосредственное средство для достижения той или иной художнической цели. Они нужны, вот именно, для внутренней развязности, свободы, как, скажем, боксеру или гимнасту мало владеть, пусть и в совершенстве, только техникой бокса или упражнений на брусьях, но нужна еще и просто физическая мышечная сила.

Ведь как бы мы ни знали почти наизусть «Записки охотника», лучше, что создано Иваном Сергеевичем Тургеневым, ни днем, ни с огнем не найдешь там ни Гегеля, ни Канта.

Родная природа, великолепно написанные пейзажи, занимательные типы русских людей, быт, нравы, фольклор, неизъяснимое очарование, любовь к родной земле, разлитая словно солнечный свет и согревающая душу читающего, — всего этого много в «Записках охотника» и все это как-то легко, свободно, раскованно или будто даже незамысловато, а на самом деле глубоко и серьезно.

Высокая художественность этих очерков (а я бы сказал — поэм) состоит, кроме всего прочего, в том, что они отвечают первой (как я назвал бы ее) заповеди искусства. Если художник увидел разрушенное здание и решил его изобразить, то сам он не должен вопить и кричать о разрушенном здании: «Ах, как плохо, что здание разрушено» или «Ах, как хорошо, что оно разрушено». Читатель (зритель) сам должен, увидев картину (прочитав рассказ), воскликнуть, пожалеть или восхититься. А может быть, даже бежать на площадь и бить в релсы. «Записки охотника» и написаны именно таким образом, что без всякой дидактики и подсказки у читателя в душе рождается отношение к тогдашней действительности, а сквозь все пейзажи и красоты проступают ее реальные зримые черты.

Такие художники, как Тургенев или Некрасов (в поэзии), имели право быть самыми суровыми судьями того времени, ибо ими двигала безграничная любовь к отечеству и народу.

Воспримем это тоже как своеобразный урок.

Мне кажется, что дополнительным условием удачи «Записок охотника» явилось то, что писались они в Париже. Оттуда, из далека, все картины русской природы, деревенской жизни виделись в дополнительной золотистой дымке, ярче, прекраснее, больнее. Да, представим себе, что Тургенев, этот утонченный и образованнейший аристократ (не только по рождению, но — по духу), в основном-то оказывается художником, производящим деревню. Хорошо еще, что не было тогда современного термина «писатель-деревенщик», а то критики мгновенно наклеили бы этот ярлык на Тургенева.

Тургенев, к счастью, не принадлежит к тем писателям, о которых, если заходит речь, надо напоминать и перечислять, что ими написано. Проходят за поколением поколения, а «Хорь и Калиныч», «Бежин луг», «Касьян с Красивой Мечи», «Ермолай и мельничиха», «Певцы», «Бурмистр», «Однодворец Овсянников» — все вообще «Записки охотника» остаются для нас все такими же (не побоюсь словечка) повседневными, насущными, без чего мы не можем вообразить ни нашей литературы, ни нашей родной речи, ни самих себя.

Особенную благодарность Тургеневу должны испытывать мы, читатели-потомки, за его романы, которые запечатлели и навсегда сохранили совершенно особенную сторону российской действительности, образы, жизнь и быт бесчисленных дворянских усадеб. В самом деле, природа, описываемая Тургеневым с большим мастерством, ну там плывущее облако, туман над рекой, дорога во ржи, даже дорожные рытвины, на которые он особенно напал, не говоря уж про весенние дожди и осенние ненастья, про мелколесье и болота, про луга и березовые рощи, так ли, сяк ли, еще сохранились и мы сами их можем видеть, а вот жизнь, быт и сам образ русских дворянских усадеб исчез навсегда и знать об этом мы можем теперь только из литературы.

Обитатели подобных дворянских усадеб с более пышными или более скромными господскими домами, с флигелями и службами, конюшнями и оранжереями, старыми липовыми парками и дубами-старожилками, с темными аллеями, прудами и беседками, с портретами предков и библиотеками, с музицированием в лунные вечера и уединенными скамейками в глубине парка, с шуршаньем длинных платьев и блеском офицерских эполет, с верховой ездой и романсами, с наследствами и долгами, с картежной игрой и борзыми собаками, с французской речью и дворовыми людьми, с лоском воспитания и семейными драмами, с блеском остроумия и дуэльными пистолетами, — обитатели подобных усадеб при всех их ученых и разносторонних разговорах, при всех их — часто — благородных порывах то и дело попадали в так называемые «лишние люди». Термин скорее литературоведческий, нежели социальный. Конечно, бездельничали не все. Занимал же кто-то государственные должности, командовал ротами и полками, вел земледельческое хозяйство, писал картины, со-

чинял книги и музыку, издавал журналы. Слов нет — огромное количество этих обеспеченных, образованных и воспитанных людей слонялось по Европе, по обеим столицам, не находя прямого и непосредственного приложения своим силам и способностям. Но, — где-то я вычитал, — что только в особенном климате этих русских барских усадеб могли взрасти и созреть такие гении и таланты, как Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Гончаров, Некрасов, Тютчев, Фет, Аксаков, Тургенев, Толстой... Значит, не такими уж ненужными и праздными были все эти ученые (вроде бы бесплодные) разговоры, музыка, библиотеки, сама атмосфера? Сам, как правильно было сказано, климат этих усадеб стал вместе с их обитателями основным объектом художественного исследования Ивана Сергеевича Тургенева.

Иван Сергеевич как художник, а может быть, в первую очередь как гражданин, как русский был очень чуток, так чуток, как, вероятно, никто другой из писателей 19 века. Каждое новое народившееся, нарождающееся, готовящееся народиться общественное веяние, каждое движение умов он мгновенно улавливал своим чутким сердцем и воплощал в образы, в живых людей. Зато (есть свидетельства современников) никому из писателей 19 века не досталось на долю столько аплодисментов и брани, вообще разговоров и мнений, сколько их досталось Тургеневу. В «Нови», пытаюсь понять, что же такое народники, он тогда уже понял, что это пока что не единое, не монолитное явление и что эти люди, по-своему очень честные, самоотверженные, в сущности, очень далеки от народа и что в дальнейшем это течение, раздробившись, даст несколько самостоятельных потоков. Нежданов как наиболее непосредственный, наиболее идеалист оказывается и наиболее слабым. Он стреляется. Соломин — постепеновец, его положение в действительности наиболее прочно, и Марианна остается с ним. Машурина достает себе итальянский паспорт и живет под чужим именем, но такое впечатление, что бездельничает. Однако Тургенев подметил и выделил и самое крайнее экстремистское крыло в этом движении. Когда Маркелов пытается бунтовать крестьян, а мужички его связали и сдали губернатору, он потом восклицает про себя: «Не то я сказал, не так принял! Надо было просто скомандовать, а если бы кто пренятствовать стал или упираться — пулю ему в лоб! Тут разговаривать нечего. Кто не с нами, тот права на жизнь не имеет...»

Интересно, что главную общественную, гражданскую активность и вообще главную активность и энергию Тургенев видел в русской женщине. Это прослеживается даже на самый поверхностный взгляд. Наталья Алексеевна готова на все, а Рудин пасует. Ася готова на все, а ее кавалер пасует, Лиза готова на все, а Лаврецкий пасует. Несостоятельными оказываются и еще два героя: в «Вешних водах» и в «Дыме». Правда, Елена, едва лишь почувствовав за Инсаровым не

слова, а дело, твердость, цель, тотчас бросается и уезжает с ним на край света, где оба и гибнут. Ну так ведь он — болгарин.

Я считаю, что и эта особенность — эта женская активность и энергия — тоже подсмотрена и угадана очень точно. Даже и теперь, в наши как будто беспроблемные дни, посмотрите внимательно: в концерте, на спектакле, в каком-нибудь другом многолюдном интерьере, всюду, где есть духовное начало, три четверти собравшихся (а то и больше) составляют женщины.

Когда вспоминаешь все написанное Тургеневым и думаешь о нем как об огромном национальном и социальном явлении, приходит крайне необходимая мысль о целостности и цельности народа как единого и в конечном счете нерасторжимого организма. В одном месте эта мысль выражена у Тургенева, как говорится, черным по белому. Разговаривают Елена Николаевна Стахова и Дмитрий Инсаров.

— Вы очень любите свою родину? — произнесла она робко.

— Это еще не известно... Вот когда кто-нибудь из нас умрет за нее, тогда можно будет сказать, что он ее любил... Люблю ли я свою родину? Что же другое можно любить на земле? Что одно неизменно, что выше всех сомнений, чему нельзя не верить после бога? И когда эта родина нуждается в тебе... Заметьте: последний мужик, последний нищий в Болгарии и я — мы желаем одного и того же. У всех у нас одна цель. Поймите, какую это дает уверенность и крепость!

Это ведь било и по той ложной идее, что вот, мол, мужики в лаптях — это народ (и надо идти в народ, переодевшись в лапти), а Пушкин, Гоголь, Толстой, Глинка, Венецианов, генералиссимус Суворов, фельдмаршал Кутузов, Некрасов, Белинский, Герцен, сам Тургенев в конце концов вроде уж и не русский народ. Отсюда шла и определенная широта взглядов Ивана Сергеевича, вернее сказать, отсутствие узости и того, что мы теперь, возможно, назвали бы «групповщиной». Известно, Герцен был западником (каковым и Тургенев считал себя), Аксаковы же все были «славянофилами». И вот Тургенев говорит Герцену:

«В России я уговаривал старика Аксакова продолжить свои мемуары — а здесь — тебя. И это не так противоположно, как кажется с первого взгляда. И его и твои мемуары — правдивая картина русской жизни, только на двух ее концах и с двух различных точек зрения, но земля наша не только велика и обильна, — она широка — и обнимает многое, что кажется чуждым друг другу».

Да вот сейчас, когда прошло сто лет со дня смерти Тургенева, скажите нам, что мы с ним (с Некрасовым, Достоевским, Толстым, Блоком, Есениным), равно как и с последним нищим (слава богу, нищих не стало на Руси), не принадлежим к единому целому, не составляем единого целого, — так ведь это же не просто трагедия, это духовная и гражданская смерть!

Но уроки Тургенева на этом еще не кончились.

Когда произносится имя Ивана Сергеевича Тургенева, сразу возникают в сознании не только «Записки охотника», «Дворянское гнездо», «Отцы и дети» (и все романы), не только «Стихотворения в прозе» и «Вешние воды», не только Спасское-Лутовиново, но сразу возникают Париж и Полина Виардо.

Можно подсчитать (специалисты, наверное, и подсчитали), сколько лет в общей сложности провел русский писатель за границей. Говорят, что две трети жизни. Возможно, возможно. Однако я смею утверждать, что Тургенев не уезжал от России ни на один день. Из России уезжал, а от России не уезжал. «Пребывание во Франции,— писал он Сергею Тимофеевичу Аксакову,— произвело на меня свое обычное действие, все, что я вижу и слышу, как-то теснее и ближе прижимает меня к России, все родное становится вдвойне мне дорого».

Если человек сидит за рабочим столом, над листом бумаги и пишет «Записки охотника», позволительно спросить, где же он сейчас находится на самом деле, в Париже на улице Дуэ или около костра с крестьянскими детьми среди ночного Бежина луга? Ведь и Гоголь жила в Риме и писал там... «Мертвые души».

Трагедия писателя начинается, повторим, не тогда, когда он по каким-либо причинам уезжает из страны, а когда он уезжает от нее, трагедия писателя начинается тогда, когда он перестает ощущать свою аудиторию, когда слово его не находит резонанса, а уходит, как в вату. Между прочим, такая беда может приключиться с писателем, сиди он хоть в самой середине своей страны, достаточно ему утратить свою духовную связь с читателем, а еще громче говоря — с народом.

Тургенев этой связи никогда, ни на одно мгновение не терял.

«Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись. Горе тому, кто это думает, двойное горе тому, кто действительно без нее обходится!.. Вне народности ни художества, ни истины, ни жизни ничего нет. Без физиономии нет даже идеального лица; только пошлое лицо возможно без физиономии».

В другом месте Иван Сергеевич выразился еще более конкретно и ясно: «Нет счастья вне родины, каждый пускай корни в родную землю».

Сто лет прошло с тех пор, как гроб с прахом великого русского писателя опустили в землю на Волковом кладбище в Петрограде, рядом с прахом его друга и во многом учителя — Белинского. Такова была просьба Ивана Сергеевича. Но не было ни минуты за все эти сто лет, когда родина не помнила бы о своем верном сыне, не воздавала бы ему должное, не любила бы его, и если бы люди, живущие в какое-нибудь время на территории его родины, вдруг забыли бы о нем, то это была бы уж не его, а их трагедия.

Ну, что бы еще выписать из Тургенева, какой урок и какой завет... Да хотя бы вот этот:

«Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, это клад, это

достояние, переданное нам нашими предшественниками... Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием: в руках умелых оно в состоянии совершать чудеса!».

Таковы уроки Тургенева.

«ПО НЕБУ ПОЛУНОЧИ АНГЕЛ ЛЕТЕЛ»

Писать о Лермонтове? Да разве это возможно?

Не только потому, что написаны уже подробные его биографии, глубокие философские статьи, изыскания, исследования, начиная с занимательно-детективных, кончая метафизически-мистическими, прослеживающие его жизнь и творчество и оглядывающие его с разных сторон, но потому что очарование его поэзии, красота его стихов, их неизъяснимая прелесть вот именно неизъяснима, так как же о них писать! Приходят сразу на ум слова: волшебство, магия слова, загадка, тайна, поэзия в чистом виде. Слова эти приходят на ум, но ровно ничего не объясняют. Стихи Лермонтова надо просто читать, вернее, твердить, что мы и делаем, потому что все давно уж читано, заучено наизусть с раннего детства и на всю остальную жизнь.

Недавно в Москве находилась делегация деловых людей из очень далекой страны, и был там один коммерсант российского происхождения, но в таком поколении, что уж не знал русского языка. Он всем рассказывал, что в детстве мать пела ему какую-то песню, но он все забыл — и мелодию и слова, а помнит одно только первое слово. Так не поможет ли кто-нибудь ему по этому единственному слову узнать, что это была за песня?

— Какое же первое слово? — спросили у коммерсанта.

— Ви-хо-жу... — с характерным акцентом выговорил коммерсант.

Ну, тотчас и спели ему (а дело происходило в застолье) известную песню: «Выхожу один я на дорогу...»

У самого Лермонтова получилось трагичнее. Его мать умерла, когда мальчику было три года. Зрительного образа матери у Лермонтова не осталось, но осталось нечто в душе, что он потом старался вспомнить всю жизнь, но так и не вспомнил. Осталась не сама песня, которую ему пела мать, но лишь ощущение песни, память о песне. Лермонтов был убежден, что, если бы он услышал ее вновь, непременно узнал бы.

В искусстве иногда конкретный жизненный факт может породить особый оттенок в мироощущении художника. Так, например, очень просто объясняется пристрастие Сергея Есенина к березам. Там, где прошло его детство, существовала белостволая березовая роща, она-то и осветила на всю жизнь душу поэта. У Лермонтова чаще встречается

дуб. «Дубовый листок оторвался от ветки родимой», «Надо мной, чтоб вечно зеленея, темный дуб склонялся и шумел». Дело в том, что вблизи Тархан стоял прекрасный дубовый лес.

Точно так же и тут. Забытая песня матери (но все же не забытая, значит), единственное, что осталось ему от матери, породила светлую и мощную струю в поэзии Лермонтова.

По установившейся традиции все сборники лермонтовских стихотворений открывает стихотворение «Ангел», помеченное 1831 годом (Лермонтову 17 лет). Эта традиция установилась не напрасно. «Ангел» — это та точка, где пробился наружу из глубин души родник поэзии великого нашего поэта. Потом его поэзия превратится в поток, оразивший в себе и родные Тарханы, и Кавказ, и звезды, и облака, и луну, плывущую по небу, но сам родник, сам источник вот он — стихотворение «Ангел».

В сущности и строго говоря, биографический факт. Вернее сказать, полное совпадение с биографическим фактом. Ангел несет живую душу, чтобы вселить ее в земного человека, и поет песню; душа не запомнила этой песни, но ощущение песни — память о песне осталась. И вот — земные песни не могут заменить ей тех небесных звуков. Душа в земной юдоли томится, вспоминая о них.

Но разве не точно так же мать, молодая, красивая, нежная женщина (ангел!), лелеяла своей песней душу мальчика, готовя его к трудной и жестокой жизни, к земному пути! Стихотворение «Ангел» — ключ к пониманию всей почти поэзии Лермонтова. Вот именно — изначальный родник. Потом вольются в поэтический поток новые строки, лирические, эпические, социальные, но главный мотив таится здесь.

А тут еще в раннем детстве, во время пребывания с бабушкой на Кавказе, он увидел синеглазую, светловолосую девочку. Вбежал в комнату, где играли другие дети, а там — она! С десятилетним мальчиком от этих синих (ангельских) глаз случился почти что обморок. Потом он не помнил даже имени девочки, все собирался спросить у взрослых, но постеснялся. Удивятся: почему же он ее до сих пор не забыл? Так и жил со смутным воспоминанием чего-то прекрасного, почти божественного, соотнося с этим образом все, что встречалось в жизни, и отбрасывая все прочь. Опять все тот же мотив: «И звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли».

Обратите внимание, что из двух непроницаемых бездн, проблемное между которыми является человеческая жизнь, люди заглядывают все время в ту, которая ждет, а не в ту, которая осталась позади. Одни — рационально отрицают, другие — смутно надеясь, третьи — твердо веруя, что их там впереди ждет какое-то продолжение, но все люди, все философские концепции, религии всех времен и народов обращают свой взор к той бездне, в которой человек исчезнет, а не к той, из которой он появился. Лермонтов же прожил свою жизнь так, как будто

он что-то знал и о чем-то помнил: «...Я счет своих лет потерял», «...Когда б я мог забыть, что незабвенно!», «Забыть? Забвенья не дал бог, да он и не взял бы забвенья», «Спастись от думы неизбежной и незабвенное забыть», «И лучших дней воспоминанья пред ним теснились толпой», «Что без тебя мне эта вечность?», «В душе моей с начала мира твой образ был запечатлен»...

Лермонтов обладал удивительным ощущением космоса. Я думаю, что он первый в русской (а возможно, и в мировой поэзии) посмотрел на землю с космической высоты. До этого смотрели все снизу вверх — на облака, на звезды, на комету, на птиц. Никому не приходило на ум взглянуть сверху вниз. Пушкин, правда, взглянул на Кавказ таким образом, но с высоты самого же Кавказа. «Кавказ подо мною, один в вышине, стою над снегами у края стремнины... Здесь тучи смиренно идут надо мной... Там ниже мох тощий... А там уж и люди гнездятся в горах...» Но разве же это высота?

И над вершинами Кавказа,
Изгнанник рая пролетал,
Под ним Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял.
И глубоко внизу чернея,
Как трещина, жилище змея
Вился излучистый Дарьял...

Можно спросить у наших космонавтов, с какой высоты Казбек покажется ограненным алмазным камешком, а Дарьяльское ущелье трещиной, где поместится только змея?

Космосом веет и от уже упомянутого нами (одного из лучших в отечественной лирике) стихотворения «Выхожу один я на дорогу». Туман, кремнистый путь, пустыня, и звезда с звездой говорит. Почему пустыня? Какая пустыня? Потому что поэт один перед небом, перед звездами, на кремнистом пути. «Спит земля в сияньи голубом». Это — не «На холмах Грузии лежит ночная мгла», это — не «луна золотую порошею осыпала стынъ деревень», это — не «чудный месяц плывет над рекою». Это — спит земля в сияньи голубом!

Кто-то, когда-то обронил, как будто удачно, что Пушкин, де, был дневным, а Лермонтов ночным светилом русской поэзии. Но скорее Лермонтова, по пристрастию по крайней мере, можно уподобить не светилу, а небу. В Тарханах ли в раннем детстве, на Кавказе ли в детстве же засмотрелся он на небесную синеву, воспоминания ли от взгляда той девочки, от которого с мальчиком случился обморок, но только синева небес — основная, пожалуй, активная краска в стихах поэта.

В то утро был небесный свод
Так чист, что ангела полет
Прилежный взор следить бы мог...

Раз — это было под Гехами —
Мы проходили темный лес.
Огнем дыша, пылал над нами
Лазурно-яркий свод небес.

И дальше и дальше: «Глядит — и небеса играют в ее божественных глазах», «Как небеса твой взор блистает эмалью голубой», «Люблю мечты моей создание с глазами полными лазурного огня», «Молча сию под окошком темницы, синее небо отсюда мне видно».

С такой-то вот чистой небесной синевой в глубине души вступил Лермонтов на кремнистый (как помним) путь своей короткой и ослепительно яркой жизни. Голубизны в ней было меньше, чем в небе или в душе.

Ранняя потеря любимой матери, ранняя вынужденная разлука с любимым отцом, то есть сиротство, раннее ощущение внутреннего конфликта с окружающей средой... Тут я собрался на целой странице перечислить все камни и кремнии на жизненном пути молодого поэта и русского дворянина, но и сам споткнулся. Да, сиротство, конечно, но ведь под крылом беззаветно-любящей и богатой бабушки. И он — в будущем — единственный ее наследник. А в остальном? Многочисленная, просвещенная родня, всегда образованное, чтобы не сказать блестящее общество, полная материальная обеспеченность. Благородный Университетский пансион в Москве, Московский Университет, Школа гвардейских юнкеров, Лейб-гвардии гусарский полк, юнкерские кутежи, великосветские балы, ослепительно красивые, утонченные женщины, благородные, умные друзья... Приходится из всех невзгод остановиться на внутреннем конфликте с окружающей средой, но получается очень уж неконкретно. Конечно, смерть Пушкина Лермонтов воспринял как личную трагедию, потому что он в высшей степени обладал чувством родины, ее истории, культуры, вообще чувством народности, но все же это была всероссийская, а не только его одного трагедия. Конечно — ссылка. Высочайшим повелением Лейб-гвардии гусарского полка корнет Лермонтов переводился тем же чином в Нижегородский драгунский полк (на Кавказе). Но и тогда, и теперь, и во все времена разве все офицеры должны служить в столице? Стихи на смерть Пушкина уже написаны, разошлись, читаются, а это главное для поэта. Кавказ поэт любил с детства едва ли не больше своей среднерусской родины. Кавказ (Грузия в том числе) был первой любовью русской литературы, а Пушкин с Лермонтовым тогда и были, в сущности, — русская литература, русская поэзия, во всяком случае. Конечно, из Петербурга он переводился в действую-

щую армию, но для офицера это вовсе нельзя считать невзгодой или несчастьем, на то ведь и офицер, чтобы воевать. Кто не воевал в России, начиная с древнейших времен? И только что, только что отгремело Бородино. Дуэль с де-Барантом? Но дуэли тогда были обыкновенны. Посмотрите — что ни роман тогда, то и дуэль. Онегин с Ленским, Печорин с Грушницким, Пьер Безухов с Долоховым, «Вешние воды» и так вплоть до чеховской повести «Дуэль». Грибоедову тоже на дуэли прострелили мизинец.

Нет, никак нельзя сказать, что жизнь Лермонтова с внешней стороны была полна невзгод (у декабристов и у их жен невзгод было больше), нельзя сказать, что жизнь Лермонтова с внешней стороны была по-особенному бурной (у Толстого-Американца с его заморскими приключениями, с десятками дуэлей и крупной картежной игрой она была бурнее). Лермонтов не голодал в молодости, как Некрасов, не стоял под расстрелом в солдаты и не ссылался на каторгу, как Достоевский, не разжаловался в солдаты, как Полежаев, не жил в вынужденной эмиграции, как Герцен, не чах от туберкулеза, как Белинский.

Просто он с его характером, темпераментом, его душой и талантом, с его масштабностью, что ли, если употребить современное наше выражение, не вписывался в окружающую его действительность: ни в школу юнкеров, ни в светские балы с их дежурными разговорами. Он мог бы вписаться только в русскую литературу и был на прямом и верном пути к этому, но не успел. Он стал русской литературой, и литература стала им, Лермонтовым, уже после его смерти. И если, скажем, обед у Погодина в честь Гоголевских именин (9 мая по старому стилю) и Гоголь захотел собрать своих друзей и знакомых, то на этом обеде были С. Т. Аксаков, его сын Константин, И. С. Тургенев, Самарин, П. А. Вяземский, Шевырев, Лермонтов, Дмитриев, Загоскин... Позже приехала Е. М. Хомякова, жена А. Г. Хомякова. Следовательно, и Хомяков тоже был в саду у Погодина. Лермонтов читал имениннику и всем собравшимся отрывок из поэмы «Мцыри», и, говорят, прекрасно читал. Конечно, Гоголь был средоточием общества, собравшегося в саду у Погодина, а Лермонтов лишь присутствовал. Однако присутствовал, и — добавим от себя — не случайно и не случайно именно в этом кругу людей.

Конечно, было бы смешно Лермонтова — с его ранним байронизмом, с его романтизмом во всяком случае, с его романтизацией Наполеона, с его ощущением шотландской струи в своей родословной, с его любовью к Кавказу и вообще Востоку, с его широтой взгляда на мир — было бы смешно, говорим, вставлять его в рамку известного московского кружка или даже течения. Но что-то сближало же его с перечисленными людьми и со всем, что за ними стояло.

Лермонтов был глубоко народен уже в самых ранних проявлениях своего гения, можно было бы сказать, что народность он всосал вместе с молоком матери, но в том-то и дело, что у него была кормилица —

простая тархановская крестьянка. Созревая и мужая, поэт становился все народнее, все глубже. Родная история интересовала его не праздно, чувство родной истории в нем жило всегда.

Твой стих, как божий дух, носился над землей,
И отзвук мыслей благородных
Звучал, как колокол на башне вечноюй,
Во дни торжеств и бед народных.

Отсюда «Песня о купце Калашникове», «Бородино», «Казачья колыбельная», «Родина». Многие его стихи сразу же становятся народными песнями: «Тростник», «Тамара», «Парус», «Бородино», «Два великана», «Выхожу один я на дорогу»... Поэт начал понимать свое предназначение как прямой наследник и преемник Пушкина. Теперь он мечтает уйти в отставку не потому, что ему надоела жизнь воина, а для того, чтобы издавать свой журнал, для того, чтобы занять подобающее ему место во главе русской словесности. Все кипенье молодости, порождавшее, с одной стороны, непревзойденные поэтические шедевры, но, с другой стороны, множество черновиков, набросков и вариантов, умиралось, остепенялось, ложилось в русло полноводной реки, а сквозь все теснины, кинжалы, аулы, сторожевые башни, горные потоки все явственнее можно было видеть как бы протупающий водяной знак:

И на холме средь желтой нивы
Чету белеющих берез.

Впрочем, дело не в том, Кавказ в стихах или дрожащие огни печальных деревень. Вот строфа, от которой берет эстафету последующий гигант наш Лев Толстой.

Тянулись горы, и Казбек
Сверкал главой остроконечной,
И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек...
Чего он хочет? Небо ясно,
Под небом места хватит всем,
Но бесконечно и напрасно
Один враждует он... Зачем?

В лермонтовском творчестве сорокового и сорок первого годов очевидно исполнялось пророчество Белинского о том, «что это будет русский поэт с Ивана Великого».

Очень много говорилось в литературоведении о демонизме, о байронизме Лермонтова, о его озлобленности по отношению к жизни, о его сверхранней разочарованности, о его презрении если не к людям,

то к окружающей среде, о его обособленности от людей, от стремления поставить себя то ли над людьми, в стороне от них, о стремлении замыкаться в гордом одиночестве и т. д. и т. п. В связи с этой точкой зрения на великого поэта исследователей удивляла некая двойственность этой личности, когда наряду с видимым озлоблением и с видимым крайним, как мы теперь сказали бы, индивидуализмом вдруг проступали черты человечности, мягкости, нежности, добра. А между тем ничего удивительного во всем этом нет. Дело в том, что ранний юношеский (хотелось бы сказать — мальчишеский) демонизм и байронизм Лермонтова происходил от сверххранной начитанности плюс определенное веяние времени (ведь в литературоведении есть и понятие «байронизм Пушкина»), плюс определенный комплекс неполноценности, происходящий от отношения Лермонтова к собственной внешности. Небольшой рост, кривоватые ноги, красноватые белки глаз... На самом деле он не был уродом, но достаточно того, что считал себя таковым. Недаром же в романе «Вадим» он сделал главного героя уж полным уродом, едва ли не монстром, а как известно, во всех своих главных героев — будь то Печорин, будь то Арбенин, будь то сам демон — Лермонтов вкладывал большую часть самого себя и своей биографии. Демонизм и байронизм Лермонтова были юношеской (хотелось бы сказать — мальчишеской) позой, душа же его на самом деле была — верх чистоты, доброты, мягкости и ранимости. И вот происходил естественный и закономерный процесс. С годами шелуха позы, шелуха постороннего литературного влияния опадала, осыпалась, подлинная душа все более высветлялась, выступала на первый план, диктовала все более человеческие, добрые, спокойно-мудрые, все более подлинно народные слова. К сожалению, процесс этот не успел завершиться вполне, хотя мы уже отчетливо понимаем, что такие стихи, как «Казачья колыбельная песня», «Сон», «Родина», «Молитва», да и все-все последние стихи Михаила Юрьевича не могли быть написаны человеком злым либо презирающим людей и все и вся. Они написаны человеком добрым и глубоко русским.

По чьему-то меткому выражению, пуля Мартынова срезала верхушку с дерева русской поэзии, после чего она пошла расти в сучья. Действительно, много великолепных поэтов было на Руси в последующие десятилетия: Полонский, Майков, А. К. Толстой, Фет, Некрасов... Но до высочайшей отметки лермонтовской поэзии волны их все-таки не доплескивали.

Существует известный феномен: одни говорят, что они больше любят Пушкина, другие говорят, что они больше любят Лермонтова. Значит, один уж этот факт свидетельствует, что перед нами две почти одинаково огромные, одинаково сияющие вершины русской поэзии и не так уж просто отдать предпочтение одной из них. Правда, говорят, что любовь к Лермонтову — это как бы юношеская любовь и с воз-

растом пристрастия к Пушкину возрастают и крепнут, что любовь к Лермонтову порывистее, острее, жарче, а к Пушкину ровнее, зато прочнее. Где-то я слышал также сравнение поэзии (и самого явления) Пушкина с полноводной равнинной рекой, а поэзии Лермонтова — с горной рекой, стесненной скалистыми берегами. Ну, скажем, Волга и Терек. Конечно, все тут очень условно, но если на время и принять этот образ, то есть если и сравнить поэзию и бурную духовную жизнь Лермонтова с горнокапящим потоком, то нельзя было бы не предвидеть, что только временно этот поток горный, что вот-вот он вырвется из теснин и что в дальнейшем ждет его величественное равнинное, хотя и по-прежнему могучее полноводное течение. Не вина Лермонтова, что это не успело произойти.

Однако вернемся к лирике Лермонтова. Мы остановились на том, что Лермонтов жил со смутным воспоминанием чего-то прекрасного, почти божественного, соотнося с этим образом все, что встречалось на жизненном пути, и все отбрасывая прочь. Однако не все.

Каждый, кто внимательно прочитал бы Лермонтова, и стихи, и «Героя нашего времени», и «Вадима», и «Княгиню Лиговскую», и поэмы, мог бы прийти к безошибочному выводу, что через всю свою жизнь поэт пронес одну-единственную, огромную, неизменную, глубоко любовь к одной женщине. Конечно, были светские встречи, были увлечения, были стихи в альбомы, стихи с посвящениями многим женщинам. Была Анна Столыпина, была Катенька Сушкова, была Щербатова, он и не скрывал их имен, так и писал над стихами: «Кн. Марье Алексеевне Щербатовой», «Александр Осиповне Смирновой», «Гр. К. Воронцовой-Дашковой», «К Гр. Э. К. Мусиной-Пушкиной», «Марье Павловне Соломирской», «Графине Ростопчиной» и т. д. и т. д. Но есть множество стихов, когда они и не посвящены как будто никому и в то же время мы чувствуем, видим, что у них есть таинственный адресат. Скажем «Сон» или «Валерик». Либо над стихами стоит одна только буква «К», а дальше идут три звездочки. Очевидно, что поэт обращается к любимому, более того, любящему человеку, близкому, полностью понимающему его, дорогому, но в то же самое время далекому, можно сказать — недоступному. Она, эта женщина, более всех других отвечала тому смутному, лазурному, небесному, что жило в душе поэта и что он ревностно оберегал от прикосновения чужих рук, взглядов и даже чувств. Одной ей он мог бы отдать всю душу, с одной ею мог бы вспомнить то, что старался вспомнить всю жизнь, она одна, короче говоря, отвечала его душевному чистому идеалу. Но никогда и ни разу любящий поэт не обмолвился, ни одним словом не выдал имени любимой, а потом ее родные, зная о взаимной страсти двух молодых людей, крепко хранили секрет. Лучший пока что биограф Лермонтова Павел Висковатый пишет: «Изучая жизнь Лермонтова, я давно пришел к убеждению, что над ним господствовала глубокая и потому

чистая и возвышенная страсть — источник наслаждения и горя. В 1880 году я наконец от родственников любимой им женщины, живущих в средней полосе России, получил первые точные сведения об ее отношении к поэту. Но я должен был дать обещание молчать».

Но время уже прошло, то там, то тут имя женщины начало появляться в воспоминаниях, записках. Теперь оно стало достоянием гласности, и все мы его теперь знаем: Варенька, Варвара Александровна Лопухина.

Достаточно только перечислить стихи, обращенные к ней, чтобы понять, какую роль она сыграла в жизни поэта.

«Нищий», «Оправданье», из Гейне «На севере диком», «Утес», «Сон», «Не смейся над моей пророческой тоской», «Я не хочу, чтоб свет узнал», «Договор» («Пуская толпа клеймит презреньем наш неразгаданный союз»), «Оправданье», «Завещанье», «Любовь мертвеца», «Валерик», «Слышу ли голос твой», «Отчего», «Ребенку», «Романс Нины из «Маскарада», «Расстались мы, но твой портрет», «Молитва» («Я мать божия ныне с молитвою...»). И это далеко не все. Павел Висковатый пишет: «... поэма «Демон», особенно в первых очерках, вся проникнута изображением душевных бурь поэта и его любви к чудной девушке, от коей он ждал спасенья, в коей видел для себя оплот против мрачных дум и настроений души. В себе видел поэт мрачного демона, в Вареньке ясное, безгрешное существо, которое одно может вернуть его к небесам, т. е. к правде и к добру».

Это подтверждается и тем, что, когда Лермонтов писал «испанский» вариант «Демона», он одновременно рисует карандашом портрет Вареньки в образе испанской монахини. Рисунок этот, к великому счастью, уцелел, и мы можем воочию видеть, какой была Варенька Лопухина, да еще в восприятии самого Лермонтова.

Совсем безнадежными их отношения стали, когда Варенька вышла замуж в 1835 году.

Весть о замужестве Вареньки поразила Лермонтова как молния, а узнав о смерти Михаила Юрьевича, Варвара Александровна, теперь уж Бахметьева, так и не смогла оправиться от удара, хоть и прожила еще десять лет, умерла в 1851 году в возрасте тридцати шести лет.

Варенька Лермонтова тоже любила, почему же они не поженились? На этот счет существует много гаданий и толкований. В том числе можно выдвинуть версию и о том, что Лермонтов хотел такой вот идеальной, недостижимой любви, которая освещала бы его жизнь, и боялся, что свет погаснет либо превратится в простой ночник. Но дело, кажется, проще.

Они были почти ровесники. Шестнадцатилетняя девушка тогда уже — невеста, а шестнадцатилетний юноша... Они были рождены друг для друга, но роковым образом не для брака, а лишь для любви. Мужчины тогда не женились рано и, уж во всяком случае, не на ровесницах. Лермонтов в своем возрасте просто не был еще психологи-

чески готов к браку. Вспомним, что Пушкин женился после 30 лет, а Толстой — в 34. Вспомним, что Наталья Николаевна в 25 лет уже овдовела, имея четверых детей, а мать Лермонтова умерла в 21 год, когда Мише было уже 3 года. Представим себе, что Варенька Лопухина ждала бы Лермонтова до 30 лет и более. Но 30 лет тогда — это уже старая дева!

Как бы то ни было, оба они унесли свою любовь в могилу, один чуть раньше, другая чуть позже.

Есть ряд имен в человеческой истории, негативная известность или слава к которым пришли не сами по себе, а потому лишь, что они роковым образом соприкоснулись с другими личностями или явлениями. «Назовут меня, сразу же назовут и тебя» — так сформулировал эту славу Михаил Булгаков в своем известном романе. Таковы в древности Понтий Пилат и Брут, а в русской истории Дантес и Мартынов.

Убийство Мартыновым Лермонтова нужно квалифицировать как (был такой термин в старой юриспруденции) убийство подлое. Да, были секунданты, и все как будто совершалось по правилам дуэльного кодекса, тем не менее. Дуэли тогда были обыкновенны. Восемь дуэлей из десяти кончались ничем. Важно было выйти к барьеру и выдержать выстрел. Чаще всего стреляли вверх или в сторону, пожимали руки и ехали пить шампанское. Никто из участников не придавал серьезного значения и предстоящей дуэли. Никто, кроме убийцы. Не взяли доктора. Не взяли тележку на случай ранения одного из дуэлянтов. Был заказан ужин на последуэльное время. Лермонтов не хотел стрелять. Он стоял, держа пистолет стволом вверх. Нет никаких сомнений, что если бы Мартынов «промахнулся», Лермонтов разрядил бы свой пистолет в воздух. Но Мартынов тщательно прицелился в спокойно стоящего Лермонтова и убил его наповал.

Впоследствии возникло множество разных версий об этой дуэли. Я помню, как к нам, студентам Литературного института, пришел однажды в гости замечательный, конечно, писатель Константин Георгиевич Паустовский. Благодаря, очевидно, романтическим склонностям своей души он всерьез нам доказывал, что Мартынов в Лермонтова не стрелял, но что в канаве в кустах сидел, спрятавшись, подосланный человек и что он-то и застрелил поэта. Одним из доказательств этой версии было то, что пуля прошла (насквозь) через грудь Лермонтова под некоторым углом снизу вверх. Но участники, очевидцы дуэли так и рассказывали, что площадка для дуэли была выбрана наспех, покатая и что Мартынов стоял ниже Лермонтова, что даже давало ему, по запоздалым признаниям секундантов, некоторое преимущество.

Интересно, что версия, будто Мартынов не стрелял, бытует и до сих пор. Автор этой статьи получил письмо от Н. Н. Смирнова, который

пишет: «...я храню газету почти двадцатилетней давности «Советская культура» от 9 января 1965 года, где на 4-й странице в статье «В поисках правды» написано: «Право первого выстрела принадлежало поэту, и он разрядил свой пистолет в воздух. Об этом пишет и И. Андроников, а между тем один из двух пистолетов дуэлянтов при осмотре после поединка оказался заряженным. Если Лермонтов разрядил свой пистолет в воздух, то ясно, что остался заряженным пистолет Мартынова. Значит, он не стрелял вовсе».

Трудно сказать, чего больше в этих нелепых версиях: непонятого желания обелить убийцу поэта или непременно доказать, что Лермонтова убило самодержавие, подославшее убийцу, который прятался в кустах и застрелил поэта. А как же быть со свидетельствами очевидцев, что Мартынов после своего выстрела и после того, как Лермонтов упал, бросился к нему с возгласом: «Прости, Миша!» А как же быть с тем, что один из секундантов и друг Михаила Юрьевича, Столыпин-Монго, под уже разразившейся грозой держал около часа у себя на коленях голову постепенно коченеющего трупа своего друга? Что же, он не мог бы отличить выстрела Мартынова от выстрела из канавы? Да и не было в правилах дуэлей того времени, чтобы дуэлянты стрелялись по очереди. Просто они обязаны были выстрелить, не дойдя до барьера, а уж кто выстрелит первым, кто вторым, это зависело от них самих.

Нет, все было, увы, прозаичнее и проще. Мартынов тщательно прицелился в спокойно стоящего Лермонтова и убил его наповал.

Погасло синее небо. В одно мгновение погибли все замыслы, все ненаписанные стихи, поэмы, романы, будущий журнал, никто не знает, что погибло в одно мгновение. Все это погибло на пороге зрелости, то есть в самом начале. Пользуясь современным авиационным словарем, Пушкин все же обозначил свой «потолок». Он много бы еще сделал. «Тогда-то мы начнем писать поэму песен в двадцать пять». Но высота его полета все же ясна. Потолок Лермонтова еще не обозначился. Последние его стихи, записанные в «Тетрадь Одоевского»: «Сон», «Спор», «Утес», «Дубовый листок», «Выхожу один я на дорогу» и, наконец, «Пророк» — последнее, что написал Лермонтов, — это крутая, если не вертикальная линия вверх. Шедевры, один ярче, лучше и глубже другого. Сколько бы ни проходило десятилетий и даже веков — никогда ни одно русское сердце не примирится со смертью Лермонтова и не устанет проклинать его убийцу.

НАРОДЕН, КАК САМ НАРОД

Это не статья, не исследование, не литературоведческий опус. О Пушкине написано страниц в сотни раз больше, нежели он написал сам. Просто это некоторые (далеко не все) из моих ощущений, возникавших в разное время при чтении Пушкина.

Однажды я задумался: если бы убрать, изъять из моей жизни Пушкина, начиная с первых прочитанных, с первых заученных наизусть стихотворений, через постоянное чтение его на протяжении всей жизни, через постоянное ощущение его присутствия в моем сознании (и в душе, разумеется), я бы уж был не я. Нетрудно вообразить, какими мы все были бы, не имея Пушкина, но какими-нибудь не такими. А ведь это касается не только меня и не только моих современников, но многих поколений людей, то есть, в сущности, целого народа. Да, отними у меня Пушкина, и я уже буду не я. Отними у народа Пушкина, и он уже будет не тот. ...Мы говорим о влиянии огромного, национального поэта, писателя на формирование сознания народа, его духовных качеств, что же говорить о влиянии его на литературный процесс! Тут не только внешние факты. Ну да, подсказал Гоголю сюжеты «Ревизора» и «Мертвых душ»; Толстой признавался, что при чтении пушкинского отрывка «Гости съезжались на дачу...» у него мелькнул, то есть зародился замысел «Анны Карениной»; подражание юного Лермонтова Пушкину общеизвестно. Один великий поэт как бы на ходу, на бегу перенимал эстафетную палочку русской поэзии у предшественника. Один литературовед остроумно и тонко предположил, что название своего главного романа Толстой взял из следующих строк Александра Сергеевича из «Бориса Годунова»:

...В часы,
Свободные от подвигов духовных,
Описывай, не мудрствуя лукаво,
Все то, чему свидетель в жизни будешь:
Воюну и мир...

Но как проследить, как оценить влияние Пушкина (помимо этих внешних и, я бы даже сказал, частных случаев) вообще на русскую поэзию, на литературу позже него, влияние не очевидное, не бросающееся в глаза, но, конечно, несомненное. Ведь даже те, кто кричал потом «Долой Пушкина с корабля современности!», не были бы без Пушкина, я убежден, теми, кем они были.

...Когда фамилия становится именем, оно начинает обладать некоей магией, так что мы уж не думаем о фамилии. Разве мы когда-нибудь вспоминали, что Толстой (несмотря на облагораживающе-смещенное ударение) все же не более, чем Толстый? Разве когда-нибудь мы задумывались, что фамилия нашего великого поэта и прозаика происходит от будничной пушки, из которой палят во время сражений? Блок воскликнул даже: «Веселое имя — Пушкин!» Так что же веселого в настоящей пушке? Оно — дополним — не просто веселое, оно светлое, скорбное, грустное, яркое, утонченно-язысканное, простое, народное, мудрое, романтическое, великое, оно — Пушкин.

Сергей Михайлович Бонди, тонкий и проникновенный пушкинист, у нас в Литературном институте на лекции воскликнул: «Пушкин... Пушкин... Пушкин — это религия!»

...Лермонтов от природы и в глубине души был светлым и добрым человеком. Однако в юности у него были наносные, так сказать, благоприобретенные сарказм, желчность, демонизм, презрение, злая насмешка, просто злость. С возрастом все это уходило, осыпалось, как шелуха, а доброта проявлялась все больше и больше.

Пушкин был добр и весел с самого начала, с самых ранних юношеских, если не детских стихотворений. Возьмем одну из эпиграмм Лермонтова — написанную в альбом женщине. «Три грации имелись в древнем мире, Родились вы — всё три, а не четыре». Пушкин никогда бы женщину такой эпиграммой обидеть не смог. Аракчеева, Каченовского, Булгарина — пожалуйста! Но женщину... Вероятно, он мог бы написать: «Родились вы, и стало их — четыре». Кроме восхищения и чувства благодарности по отношению к женщине, мы нигде ничего у Пушкина не найдем.

...Есть у двух гениальных поэтов два гениальных стихотворения с одним и тем же названием — «Пророк». Они как ничто другое выражают разницу в характере и мировоззрении двух поэтов. «Посыпал пеплом я главу, из городов бежал я, нищий, и вот в пустыне я живу...». То есть — от людей. Так говорит один. «И, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». То есть — к людям, так утверждает Пушкин.

...Прозу Пушкина я лично люблю несколько не меньше его стихов. «Дубровский», «Капитанская дочка», «Повести Белкина», «Путешествие в Арзрум»... Наслаждаешься самим процессом чтения, ибо все давно уже знаешь едва ли не наизусть. Но что приводит в истинный восторг, так это лаконизм пушкинской прозы. Так и видно, что писатель заботился не о количестве страниц, а только о выразительности. Так и видно, что писателю платили тогда не за объем рукописи, а за произведение как таковое. «Дубровский». Страшно подумать: сто страничек в книге маленького формата. «Капитанская дочка» — 68 страниц. А сколько там всего! Какая насыщенность событиями, чувствами, психологией, характерами... Я думаю, у среднего (считающегося хорошим) современного писателя и «Дубровский» и «Капитанская дочка» превратились бы в пухлые, тяжелые «кирпичи» по пятьсот — шестьсот страниц каждая книга.

...Литератор (профессионал) должен работать разнообразно и широко. Большой талант не может быть узким пучком света, он светит ярко, щедро, освещая вокруг себя все предметы. Смешно представить себе (скажем) краснодеревщика, который умеет делать стулья, но не может сделать рамы для зеркала, стола, секретера, книжного шкафа и т. д. и т. п.

Нельзя преувеличивать способности литератора, написавшего

пусть хорошую книгу, если эти способности больше никак и ни в чем не проявляются: в статьях, в речах, в полемических заметках, во всем его литературно-профессиональном поведении. И вот — Пушкин. Стихи, поэмы, эпиграммы, альбомные записи, драматические произведения, романы, повести, путевые записки, исторические исследования, исторические анекдоты, критические статьи, заметки на полях (на книге Батюшкова), переводы с других языков, дневник, письма и, наконец, чудо нашей литературы — «Евгений Онегин». Да еще ко всему этому и рисунки.

...Впрочем, надо сказать, что сама жизнь Пушкина с особенным происхождением по материнской линии от Ганнибалов, с лицейской юностью, с друзьями (Жуковский, Карамзин, Дельвиг и т. д. и т. п.), с ранним литературным успехом и ранними ссылками, с путешествием в Арзрум, с Ариной Родионовной, с его любимыми женщинами, с женитьбой на первой красавице России, и, наконец, с трагическим концом, — надо сказать, что вся сама жизнь Пушкина есть уже как бы законченное художественное произведение, если избежать пошловатого слова «роман». Если бы писать роман об этом человеке, не нужно было бы ничего ни убавлять, ни прибавлять, настолько все тут цельно, стройно, соразмерно, остроконфликтно, романтично, прекрасно, ярко, мудро и трагедийно...

...В связи с этим неизбежно возникает вопрос о преждевременной гибели великого поэта. С одной стороны, как мы уже заметили, в его жизни — почти художественная цельность, насыщенность, яркость и чуть ли не завершенность, а с другой стороны, все мы понимаем, что 37 лет — это не возраст и что Пушкин погиб в расцвете своих творческих сил. Усталость, издерганность, стрессовое, как мы теперь сказали бы, состояние прошли бы со временем, и жизнь полилась бы более спокойной, полноводной и плодотворной рекой.

И все же надо вернуться к первой мысли, что Пушкин за свою короткую жизнь успел так много, что жизнь его воспринимается как полноценная, вполне состоявшаяся жизнь. Нельзя не удержаться, чтобы не выписать одну фразу — из Андрея Платонова, написанную им при размышлении о Пушкине: «Краткая, обычная человеческая жизнь вполне достаточна для свершения всех мыслимых дел и для полного наслаждения всеми страстями. А кто не успевает, тот не успеет никогда, если даже станет бессмертным».

...Тут можно добавить, что все дети Пушкина жили долго. Например, его сын Александр Александрович, полковник русской армии, принимал участие в русско-турецкой войне 1877 года и получил саблю с надписью «За храбрость», был награжден Георгиевским крестом. В 1898 году, к столетию своего отца, он произведен в генералы, в 1911 году в генералы от кавалерии. Он умер в 1914 году в возрасте 82 лет.

Это говорит о том, что в генах самого Пушкина было заложено

долголетие. Недаром гадалка сказала ему: «Проживешь долго, если на 37-м году жизни ничего не случится».

...Пушкин был народен в самом глубоком и всеобъемлющем значении этого слова. Народ (если не путать его с населением той или иной страны) есть единый, общественный, исторический, духовный организм, и пример Пушкина это как нельзя лучше доказывает, и в этом еще одно непреходящее значение нашего великого поэта.

Да, конечно, — древнейший дворянский род, и Александр Сергеевич даже, случалось, гордился этим. Знание с детства нескольких языков, блестящее воспитание, изысканные манеры, аристократический образ жизни, понятие о чести... Но также — точные и четкие понятия об исторических судьбах целого народа (а не одной лишь аристократической верхушки), об осознании себя частью единого целого, о неотъемлемости себя как части этого целого. В живом организме у разных его составных частей разные функции. Левая рука делает одно, правая рука подчас делает другое, глаза смотрят, губы улыбаются, уши слышат, ноги шагают, голова думает. Но сердце у многочленного организма — одно. Точно так же и у народа — одна душа, одна поэзия, одна песня, одна судьба. Пушкин воспринимал народную песню, сказку, родной язык как личное, как свое. Народ тотчас запел: «Буря мглого небо кроет» (равно как лермонтовские «Парус», «Бородино»), Пушкин был выразителем народной души, а вовсе не какой-то одной группы, прослойки или верхушки. Тем самым Пушкин и сейчас способствует и содействует единению народа, самосознанию народа, всему тому, без чего народ не может существовать как народ. Поэт и сам сказал про себя: «И долго буду тем любезен я народу...» Народу, и только ему.

ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК

Есть профессии, которые выбирают для себя люди, а есть профессии, которые выбирают людей. В последнем случае в старые добрые времена такие профессии назывались призванием.

Антон Павлович Чехов получил медицинское образование. И до сих пор на его доме в Москве висит медная дощечка с надписью: «Доктор А. П. Чехов». Однако профессия русского писателя, призвание писателя выбрало этого человека, заставило бросить медицину и всю жизнь целиком посвятить литературе.

Михаил Васильевич Нестеров был отдан учиться в реальное училище (что-то вроде современного техникума), но на втором курсе обучения он делает запись в дневнике: «Я начинаю выделяться по рисованию». Что? Откуда? Вместо коммерсанта или инженера получился замечательный русский художник Нестеров.

Михаил Михайлович Пришвин не менее яркий пример того, как под воздействием призвания человек меняет всю свою жизнь. Константин Паустовский однажды сказал: «Жизнь Пришвина — доказательство того, что человек должен всегда стремиться жить по призванию, «по велению своего сердца». В таком образе жизни заключается величайший здравый смысл, потому что человек, живущий по своему сердцу и в полном согласии со своим внутренним миром, всегда созидатель, обогатитель и художник».

Так-то оно так, да ведь не всегда, не сразу, не каждый человек находит свою дорогу.

Михаил Михайлович Пришвин родился 23 января 1873 года недалеко от города Ельца Орловской губернии в купеческой семье. Как водилось тогда, сначала гимназия (в г. Ельце), затем реальное училище в Тюмени, затем политехникум в Риге. Дальнейшее образование М. М. Пришвин получает за границей, в Лейпцигском университете. В двадцатилетнем возрасте он сдал там государственный экзамен по агрономическому отделу философского факультета и в Россию вернулся агрономом, но с широким общегуманитарным образованием.

Некоторое время молодой агроном служит в земстве в Клину, некоторое время занимается с профессором Прянишниковым в Сельскохозяйственной академии в Москве, некоторое время работает исследователем на опытной станции в Луге, сотрудничает в агрономических журналах, написал книгу о картофеле.

Но... Как Нестеров записал в своем дневнике «я начинаю выделяться по рисованию», так Пришвин почувствовал особенное тяготение к русскому языку. Возможно, он чувствовал его и раньше, но теперь оно проявилось и обострилось.

По совпадению именно в это время он познакомился с известными русскими учеными Шахматовым и Ончуковым. Они уговорили Пришвина съездить на север России, в Олонецкую губернию, для собирания народных сказаний, поверий, песен, пословиц и поговорок. Видимо, в этот момент и решалась судьба Пришвина: быть ли ему агрономом и ученым, или быть ему писателем. Пришвин согласился на уговоры и уехал на Онежское озеро. Как никто другой он имел основания сказать в тот день: «Жребий брошен, Рубикон перейден».

Надо представить себе, в какой обстановке формировалось самосознание будущего писателя.

Последняя четверть девятнадцатого и первое десятилетие двадцатого века в России были ознаменованы пробуждением острейшего интереса к национальным, народным ценностям. Это сочеталось с одновременным взлетом, можно сказать, всех видов искусств, равно как и науки. Достоевский, Толстой, Чехов, Горький, Блок, Бунин, Куприн — в литературе; Чайковский, Бородин, Римский-Корсаков, Мусоргский, Рубинштейн, Скрябин, Рахманинов — в музыке; Вереща-

гин, Суриков, Васнецов, Левитан, Репин, Серов, Кустодиев, Бенуа, Рерих, Нестеров — в живописи; читает свои знаменитые лекции Тимирязев, открывает Периодическую таблицу Менделеев, бросает первую радиоволну в эфир Попов; поют Собинов и Шаляпин, собирает национальную галерею живописи Третьяков, формируется и обретает свое лицо Художественный театр, открывается из-под вековых наслоений особый мир древнерусской живописи...

Этот обостренный интерес к народным, национальным ценностям коснулся, разумеется, и таких областей культуры, как язык, фольклор, этнография. Поэтому отнюдь не случайно уговаривал академик Шахматов молодого ученого, пишущего пока о картошке, но тяготеющего к глубинам русского языка, к русскому народному слову, отправиться в Олонекские края за сбором сказаний. Не случайно также молодой ученый на эту экспедицию охотно согласился. Это было вполне в духе времени.

Надо представить себе и север России тех времен. Это был воистину край непуганых птиц, а пласты народности, как в языке, в фольклоре, так и в укладе жизни, в быту, в этнографии, были первородны, не тронуты.

Неудивительно, что такой Очарованный странник, как Пришвин, жадно начал впитывать душой, умом и сердцем всю эту первородность. Дело не ограничивалось собиранием фольклора. Пришвин написал книгу «В краю непуганых птиц», которая сразу же сделала ему имя. Он уехал на север скромным агрономом, а вернулся замечательным русским писателем.

Строго говоря, послужная биография Пришвина на этом кончается. Он больше нигде и никогда не служил — ни в земствах, ни на исследовательских сельскохозяйственных станциях, ни (позже) в каких бы то ни было других учреждениях и организациях. До конца жизни теперь он будет служить только одному — русской литературе, а послужной его список — это просто-напросто список им написанных и изданных книг. Сразу же можно и назвать основные из них: «В краю непуганых птиц», «За волшебным колобком», «Адам и Ева», «Светлое озеро», «Черный араб», «Жень-шень», «Лесная капель», «Календарь природы», «Кашеева цепь», «Золотой луг», «Кладовая солнца», «Фацелия», «Глаза земли»...

В перечисленное входит далеко не все, что было написано Пришвиным, не говоря уж о его многотетрадных дневниках, которые ждут еще своего исследования и публикации, но перечисленное вполне определяет лицо, характер художника слова и его место в литературе.

Вообще-то для оценки Пришвина как писателя и мыслителя всегда и при всех обстоятельствах могло хватить того, что мы находим в письме Пришвину Алексея Максимовича Горького от 22 сентября 1926 года. Вот что Горький пишет в этом письме:

«Я думаю, что такого природолюбца, такого пронизательного

знатока природы и чистейшего поэта ее, как Вы, М. М., в нашей литературе — не было. Догадывался я об этом еще во времена «Черного араба», «Колобка», «Края непуганых птиц», окончательно прозрел, читая совершенно изумительные «Родники». Превосходно писал Аксаков «Записки ружейного охотника» и «Об ужении рыбы», чудные страницы удались Мензбину в книге о птицах, и у Кайгородова, и у других многих природа русская порою вызывала сердечные слова, но... ни у кого из них не находил я всеохватывающей, пронзительной и ликующей любви к земле нашей, ко всему ее живому и якобы смертному, ни у кого, как у Вас, воистину «отца и хозяина всех своих видений». В чувстве и слове Вашем я слышу нечто древнее, веще и язычески прекрасное, сиречь — подлинно человеческое, идущее от сердца сына земли, великой матери, богочтимой Вами. И когда я читаю «Фенологические» домыслы и рассуждения Ваши — улыбаюсь, смеюсь от радости, до того это все изумительно прелестно у Вас. Не преувеличиваю, что мое истинное ощущение совершенно исключительной красоты, силой которой светлейшая душа Ваша освещает всю жизнь... Все у Вас сливается в единый поток живого, все осмыслено умным Вашим сердцем, исполнено волнующей, трогательной дружбы с человеком, с Вами — поэтом и мудрецом».

Итак, первая же книга М. Пришвина, «В краю непуганых птиц», сделала его известным писателем. Появилось в русской литературе новое имя — Пришвин. Но дорога к себе была у Михаила Михайловича не так еще проста и близка, он не сразу обрел то свое лицо, которое мы теперь сразу же представляем себе, произнося имя — Пришвин. Осмелимся заметить даже, что «В краю непуганых птиц» — книга яркая, замечательная, все же еще не вполне пришвинская. Такую книгу мог бы написать и другой русский писатель, ну, скажем, Куприн, а еще точнее — Лесков, в то время как пришвинские книги зрелого его периода ни один писатель мира, кроме Пришвина, написать не мог.

Первая книга и еще несколько последующих, таких, как «Адам и Ева», «Светлое озеро», были, конечно, поисками своего лица, своеобразия, уникальности (а каждый большой художник уникален, или его нельзя называть большим художником), но все же они лежали еще в русле русской литературы тех времен. Самолету, чтобы подняться в небо, надо некоторое время разбежаться по земле. Потом наступает точка, когда он отрывается от дорожки и летит самостоятельно. Первые книги Пришвина и были таким разбегом.

Спору нет, уже по этому разбегу было видно, какой небывалый летательный аппарат берет разбег, и можно было догадываться уже о его будущих летных качествах, тем не менее это было лишь предисловие к творчеству. Сам писатель о начале своего пути однажды сказал: «Я мало-помалу осознал свой путь и начал культивировать географический очерк, превращая его в литературный жанр».

Но кто же сейчас думает и говорит о Пришвине как о писателе географическом?

Правда, что его очерки разнообразны по географии: Север, Дальний Восток, Средняя Азия, Волга и Заволжье, Средняя Россия; правда, что за первую книгу Пришвина избрали действительным членом Географического общества, и все же слово «Пришвин» со словом «география» как-то не сочетается. С чем же сочетается точнее всего в нашем сознании слово «Пришвин»? Ответить на это нетрудно. Оно сочетается со словом «природа». Уточним: природа Средней России.

Пришвин, начиная как будто с простого исследования, поднимается в философские, поэтические, духовные сферы, в сферы высокого искусства. Он не географ, а поэт, или, как чаще его называют в обиходном разговоре, певец природы. Певец русской природы.

Не одного Пришвина называют певцом русской природы. Называют этим именем и Тургенева и Паустовского, например. Есть ли разница между этими художниками, и в чем она? Сравним изобразительные средства этих, хотя бы трех, писателей не для того, чтобы углубляться в особенные тонкости их творческой лаборатории, а для того, чтобы на этом сравнении быстрее и легче понять своеобразие Пришвина.

Когда говорят об искусстве, то часто употребляют выражение «видение мира». Дело в том, что у каждого художника оно свое.

Тургеневские краски яркие, взгляд его охватывает широко и далеко, живописуя общую, но в то же время реалистическую картину пейзажа или ландшафта.

Летний полдень:

«Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. Подобно островам, разбросанным по бесконечно разлившейся реке, обтекающей их глубоко-прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не трогаются с места».

Летний закат:

«...алое сиянье стоит недолгое время над потемневшей землей, и, тихо, мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нем вечерняя звезда».

Ландшафт:

«Лощина эта имела вид почти правильного котла с пологими боками, на дне ее торчало стоймя несколько больших белых камней, — казалось, они сползли туда для тайного совещания, — и до того в ней было немо и глухо, так плоско, так уныло висело над ней небо, что сердце у меня сжалось».

Все это взято из «Бежина луга» Ивана Сергеевича Тургенева, откуда можно бы брать и брать описания природы, такие же прекрасные, одухотворенные, но в то же время и точные.

Паустовский — романтик и, я бы не побоялся такого слова, выдумщик. Он, конечно, отталкивается от конкретного увиденного пейзажа, от факта, но потом романтически преувеличивает его. Приведу следующие строки из очерка «Мещерская сторона»:

«Густота трав в иных местах на Прорве такая, что с лодки нельзя высадиться на берег — травы стоят непроходимой упругой стеной. Они отталкивают человека». (Заметим, что речь идет не о камыше или осоке, а о береговой, луговой траве, которая, разумеется, никому и никогда еще не помешала высадиться из лодки на берег.)

Теперь сравним, как видит и как изображает природу Пришвин. Во-первых, он всегда достоверен. Если уж он написал бы, что на лесной опушке пахло мятой, значит, там действительно пахло мятой, и сказано это было бы не ради большей выразительности, не ради красного словца, но ради факта и достоверности. В то же время его видение природы поэтично, недаром он иногда говорил про себя в шутку, что он поэт, распятый на кресте прозы, а свои короткие зарисовки природы в шутку же называл поэмами. Прочитает миниатюру в несколько строк, посмотрит лукаво и спросит: «Ну, как вам моя поэма?»

Действительно, фотографическая точность в прозе Пришвина чудесным образом сочетается с высокой поэзией, и это-то сочетание является, пожалуй, главной отличительной чертой Пришвина как художника.

Если Тургенев широко живописует пейзаж и ландшафт, охватывая взглядом сразу и долину, и реку, и холмы, и небо, то Пришвин живет как бы в некоем микромире, где не бросающиеся в глаза детали и подробности выходят на первое место.

В фотографии есть понятия — крупный план и общий план. Можно поместить в кадр целую рощу или целое озеро, а можно снять крупным планом один лист кувшинки и лягушку, сидящую на нем.

Пришвин как художник, как живописатель природы работает преимущественно с крупными планами. Нет, это не разглядывание природы сквозь увеличительное стекло, но это — внимательное разглядывание природы.

Пришвин не популяризатор, в нем ничего нет от стремления к научному подходу к природе, к истолкованию ее законов. Однажды он даже сказал: «Разве я не понимаю незабудку; ведь я и весь мир чувствую иногда при встрече с незабудкой, а скажи — сколько в ней лепестков, не скажу. Неужели же вы меня пошлете изучать незабудку?»

Отметим и еще одну особенность пришвинской прозы. Обычно у писателя-романиста, рассказчика, беллетриста, короче говоря, описание природы, пейзаж имеют в романе, рассказе, повести или очерке вспомогательное значение. Пейзаж помогает воссоздать обстановку, в которой действуют герои и персонажи, создает настро-

ние, объясняет или выявляет душевное состояние героев... У Пришвина описание природы имеет самостоятельное значение, но не настолько, чтобы он рисовал ту или иную картину ради только этой картинки, лесной пень ради пня, ночную фиалку ради ночной фиалки. Нет, они попадают на страницы пришевинской прозы только в том случае, если рождают в художнике, во-первых, движение души, а во-вторых, мысль. Вернее было бы сказать — движение души и мысль, как слитое воедино, как сплав, как акт искусства. Читаем об этом у самого же Пришвина:

«Какой-то молодой критик на ходу мне сказал, что в моей «Лесной капели» я дал вовсе не пейзаж, потому что пейзаж имеет в литературе не самостоятельное значение и везде, даже у Тургенева, отделяется от сюжета. Но у Пришвина не отделяется, и это вовсе не пейзаж.

— А что же, если не пейзаж, не природа?

— Не знаю, что...

— Так знайте же: это сердечная мысль».

Взглянем на природу глазами Пришвина, этого, как назвал его Горький, поэта и мудреца.

* * *

«Какая нежная цветоножка у раковой шейки, так трудно держать ей, как она обременена своим толстым цветком!

А вот когда на эту шейку, и так-то тяжелую, толстую, усядется огромный тяжести шмель, цветоножка поддастся, наклонится, шмель встревоженно загудит, начнет опять устраиваться: цветоножка все гнется, он все жундит, пока она догнется до предела, покорится, он же всосется и замолчит.

* * *

Вода сегодня такая тихая, что кулик над водой и его отражение в воде были совершенно одинаковые: казалось, летели нам навстречу два кулика...

* * *

В лесах я люблю речки с черной водой и желтыми цветами на берегах; в полях реки текут голубые и цветы возле них разные.

* * *

Птичик, самый малый, сел на вершинный палец самой высокой ели, и, видно, он там недаром сел, тоже славил зарю; клюв его

маленький раскрывался, но песня не достигала земли, и по всему виду птички можно было понять: дело ее — славить, а не в том, чтобы песня достигала земли и славилась птичку.

* * *

Там, где когда-то мчались весенние потоки, теперь везде потоки цветов.

И мне так хорошо было пройти по этому лугу, я думал: «Значит, недаром неслись весной мутные потоки».

* * *

В литературоведении не раз говорилось, что язык Пришвина чист, народен, прост, между тем читать Пришвина не такое простое дело. Одни его читают охотно и с наслаждением, а другие не могут читать, откладывают в сторону и говорят, в лучшем случае, что это непонятно, а в худшем, что это скучно.

В чем же тут дело, почему же написанное языком простым, народным и чистым воспринимается не всеми одинаково, а некоторые не воспринимается совсем?

Попробуем разобраться в этом, и для начала я вспоминаю один эпизод, свидетелем которого пришлось быть.

В доме отдыха (дело было зимой) несколько отдыхающих мужчин стояли на парковой дорожке и сговаривались идти играть в домино. Мимо проходила врач Александра Михайловна, семидесятилетняя любительница природы и всяческий ее пропагандист. Услышав разговор о домино, она обратилась к мужчинам:

— Как вам не стыдно в такой прекрасный день играть в помещении, курить и стучать костяшками? Пойдемте, я вам что покажу, пойдемте, не пожалеете.

Заинтригованные мужчины пошли за Александрой Михайловной. Шли деловым ускоренным шагом минут десять и вышли на край парка. Впереди расстиралось зимнее поле.

— Ну, что видите?

Мужчины посмотрели вокруг, переглянулись... Ничего. И в самом деле — никто не идет по полю, на лошади не едут, лиса не бежит, ничего, короче говоря, не происходит.

— Ничего не видим, — чистосердечно признались мужчины.

— У вас глаз, что ли, нет, посмотрите, посмотрите внимательно... Ну... Что видите?

— Ничего.

— А эту былинку, обсыпанную крупным инеем и сверкающую на солнце, вы не видите? А эти голубоватые тени на снегу?..

— А... мы думали дело... Пошли играть в домино!

Не будем строго судить. Может быть, не все эти отдыхающие были черствы душой, глухи и слепы к красоте природы и в иных обстоятель-

ствах способны были бы залюбоваться проявлением этой красоты, но теперь они были по-другому настроены, они воспринимали все на другой волне. Они ждали события, а им говорят — голубоватые тени на снегу!

Так и в лесу. Человек схватывает поляну в целом, просеку в целом, кроны деревьев в целом и может пройти мимо шмеля, сгибающего цветоножку раковой шейки.

Так и книга. Читатель, раскрывая ее, ждет событий: любви, разлук, собраний, споров, интриг, переплетения судеб, свадеб, смертей, всевозможных действий со стороны героев, а ему говорят:

«Зимой березы таятся в хвойном лесу, а весной, когда листья развертываются, будто березы из темного леса выходят на опушку. Это бывает до тех пор, пока листва на березах не потемнеет и более или менее не сравняется с цветом хвойных деревьев. И еще бывает осенью, когда березки, перед тем как скрыться, прощаются с нами своим золотом».

Тонкое наблюдение, поэзия, чистый простой язык? Конечно. Но ведь для того, чтобы это воспринять и этим насладиться, нужен определенный душевный настрой.

Если один человек сидит, а другой мимо него бежит, никакой беседы между ними не состоится. Надо, чтобы они или оба сидели, или оба бежали. Нужно одинаковое, я бы сказал, течение души.

Восприятие природы не терпит ни верхоглядства, ни суеты. У природы свой ритм, своя скорость бытия, и, для того чтобы слиться с природой, надо, увя, приноровиться к этой скорости.

Что лучше — ехать на велосипеде в течение часа мимо сотен и тысяч цветов (по луговой тропе) или в течение этого же часа любоваться лугом, оставаясь на месте. И даже не лугом, а одним цветком? В этом ключ к восприятию поэзии Пришвина.

Точно так же человек, куда-нибудь спешащий, сидящий как на иголках, одержимый внутренним зудом сиюминутного действия, не способен воспринять неторопливое и гармоничное развитие симфонии, если это даже Шестая симфония Чайковского или Девятая Бетховена.

Иногда по недоразумению Пришвина упрекали в равнодушии к человеку, в том смысле, что у него в книгах мало людей, действующих лиц, что он писал все больше о себе да о себе, хотя бы и в связи с природой. Такой упрек — глубокое заблуждение. Основная тема творчества Пришвина, основной объект его художественного исследования — человек. Человек и Природа. Восприятие природы человеком, влияние природы на человека, взаимодействие человеческой души и природы, тончайшие и глубокие движения человеческой души в ответ на те или иные проявления природы.

«Душа человека в ее сокровеннейших переживаниях — вот источник всего творчества Пришвина... Тот, кто этой дверью, с этим

пониманием войдет в творчество Пришвина, войдет в него, как в свой родной дом», — справедливо пишет В. Д. Пришвина во вступлении к томику под названием «Незабудки».

Михаил Михайлович Пришвин написал много. Окидывая мысленным взором все многотомное литературное хозяйство этого писателя, мы видим, что Пришвин — явление уникальное не только в русской, но и в мировой литературе. Можно сравнивать, скажем, Толстого и Диккенса, Достоевского и Бальзака, Мопассана и Чехова — писателей очень разных, но все-таки поддающихся сравнению. Пришвин же (зрелого периода) не похож ни на кого. Это не значит, что он лучше всех и больше всех, отнюдь, мы говорим лишь о своеобразии этого литературного явления. Сам Пришвин очень скромно пишет в своем литературном «Завещании»:

«Верно судить о писателе можно только по семенам его, поняв, что с семенами делается, а для этого нужно и время. Так скажу о себе (уже 50 лет пишу!), что прямого успеха не имею и меньше славен, чем средний писатель. Но семена мои всхожие, и цветы из них вырастают с золотыми солнышками в голубых лепестках, те самые, что люди называют незабудками».

Многие, многие поколения людей будут наблюдать еще, как прорастают в их душах и сердцах пришвинские семена, облагораживая их, уча пониманию природы, делая чище и лучше.

ПРИИТИ И ПОКЛОНИТЬСЯ

Проще и вернее всего было бы обратиться к путеводителю, на первой же страничке которого можно прочитать энциклопедически точные, исчерпывающие слова: «Ясная Поляна — место жизни, творчества и деятельности гениального писателя Льва Николаевича Толстого. Здесь он родился 28 августа 1828 года и прожил свыше пятидесяти лет — большую часть своей жизни. Здесь же, в лесу, «Старом Заказе», на краю оврага, под сенью деревьев, находится и его могила».

Остальное о Ясной Поляне и о Льве Толстом, как говорится, читайте, во-первых, в его же собственных книгах, во-вторых, в десятках и сотнях книг, научных, популярных, очерковых, мемуарных, краеведческих, полемических, — литература о Толстом по своему объему давно уже превзошла то, что было написано самим Толстым. И все-таки, когда заходит речь о таком месте на земле, как Ясная Поляна (как Михайловское, Тарханы, Аксаково, Спасское-Лутовиново, Шахматово), должен родиться в сердце человека собственный отзыв, должны родиться собственные слова.

Вообще-то говоря, таких имений, как Ясная Поляна, в России были десятки тысяч, но Толстой был один, поэтому и Ясная Поляна у нас одна. Более того, Толстой один и у целого человечества. Это гигант, как сказали бы теперь, глобального масштаба, поставить рядом с которым... повторим слова, сказанные о нем:

«...Глядя на меня прищуренными глазками, спросил:

— Кого в Европе можно поставить рядом с ним?

Сам себе ответил:

— Некого».

Но допустим, что можно. Допустим, что наберем десяток-другой величайших имен, в ряду которых не на последнем месте будет стоять имя Толстого Льва. Это лишь подтвердит, что Ясная Поляна единственна и уникальна не только для нас, соотечественников писателя и мыслителя, но и для всего человечества.

Я думаю так: если фантастическим образом мы забыли бы, кто жил в Ясной Поляне, забыли бы само имя Толстого, но имели бы перед собой только списки людей, побывавших в Ясной Поляне, — Тургенев, Фет, Лесков, Чехов, Короленко, Горький, Стасов, Крамской, Репин, Ге, Нестеров, Л. Пастернак, Бунин, Мечников, Игумнов, Танеев, Аренский, Боткин... А также списки людей, приезжавших из других стран Европы, если бы перед нами возникли те груды писем (пятьдесят тысяч), которые пришли сюда с разных концов света, и мы вообразили бы, так сказать, географию этих писем, и круг вопросов, содержащихся в них, или если бы мы, заглянув в яснополянскую библиотеку, нашли там книги с дарственными надписями Аксакова, Фета, Полонского, Страхова, Данилевского, Стасова, Короленко, Горького, Танеева, Жемчужникова, Поленова, Мечникова, Тимирязева, Бунина, Леонида Андреева, Кони, Эртеля, Телешова, Серафимовича, Марселя, Прево, Джона Голсуорси, Ганди, Анатоля Франса, Ромена Роллана, Бернарда Шоу, Морозова, Бальмонта, Игоря Северянина и еще многих других писателей, ученых и поэтов, мы должны были бы прийти к единственному выводу, что здесь жил кто-то столь могучий духовно и интеллектуально, кто притягивал к себе все лучшее, что образовывало его время, современный ему мир, там помещался магнит такой силы, что действие его распространялось на самые отдаленные уголки земли.

Конечно, читатели к писателям ходить любят. Мне рассказывал один очень известный современный писатель, что от посетителей нет отбоя.

— Но зачем они идут? — возмущенно спрашивал современный писатель. — Тот просит, чтобы я похлопотал насчет шиферу, тот хочет, чтобы я помог его дочке устроиться в институт, у того сын оказался под судом. А к Толстому с какими вопросами шли? «Как жить?», «Есть ли бог?», «Что такое любовь?», «Любить ли ближнего?», «Как быть со злом?» И главное — «Зачем?». «Зачем я, зачем мы, зачем все

вокруг нас? Зачем?» Обидно! — заключил писатель, к которому идут ради шифера.

Этот курьезный пример приведен для того, чтобы подчеркнуть: всегда Ясная Поляна была в сознании людей понятием духовным, явлением национальной культуры.

Но все же вспомним: Ясная Поляна — это имение деда Льва Николаевича по материнской линии Николая Сергеевича Волконского, генерал-аншефа. Потом его владельцами были родители писателя Николай Ильич и Мария Николаевна (урожденная Волконская), а потом при разделе отцовского наследства Ясная Поляна досталась одному из братьев Толстых, а именно Льву. С тех пор она и связана непрерывно с именем Льва Толстого.

Вспомним: Ясная Поляна расположена в 14 километрах от Тулы и в 7 километрах от Московско-Курской железной дороги. Ближайшая станция называлась Козлова Засека, а теперь, естественно, это станция Ясная Поляна.

Рядом же проходила широкая езжая и пешеходная дорога на Киев, рядом же — деревня Ясная Поляна с крестьянскими избами, с мужиками и бабами, с крестьянским бытом, с сенокосами и жнитвом, с овинами и снопами, с белоголовыми ребятишками и крепкотельными девками.

«На днях я шел домой с прогулки в подавленном состоянии духа. Подходя к дому, я услышал громкое пенье большого хора баб... В пении этом с криками и битьем в косу выражалось такое определенное чувство радости, бодрости, энергии, что я сам не заметил, как заразился этим чувством и бодрее пошел к дому и подошел к нему совсем бодрый и веселый».

На Киевской дороге — чужие люди, странники, пешеходы из дальних мест, из других губерний. Из северных краев идут в Оптину Пустынь, в Киево-Печерскую лавру, в Почаевскую лавру, из южных мест идут к соловецким угодникам, на Белое озеро, на Валаам, в Псковско-Печерский монастырь.

Тут же гонят скот с Украины на московские бойни, тут же молодые мужики с котомками идут на отхожие промыслы: в рыболовскую Керчь, на хлебную Кубань, на Кавказ, в Крым. Тут же — тарантасы, кареты, коляски, дрожки. И свисток паровоза уже доносится из-за леса.

Ясная Поляна — центр, ось, точка зрения. Если смотреть из этой точки — поворачиваются перед взглядом как бы сфера в сфере, и первая из них, самая близкая, самая медленная, — жизнь усадьбы и семейная жизнь.

Мы теперь утратили размеренность жизни, ее распорядок. Эта размеренность нам кажется непонятной. Мы едим то в двенадцать, то в половине третьего, а то и в пять, как придется. Оказавшись за

границей и будучи приглашенным во французский дом в три часа дня, москвич удивляется, почему его не кормят обедом. Он не знает, что, если бы его захотели накормить, его пригласили бы к часу дня. И это называлось бы завтраком. А обедают у них в семь. И если зовут к семи — можешь идти голодным, не бойся. А если к 9 вечера — только коньяк и кофе.

Ясная Поляна жила по строгому распорядку.

«В девять часов утра пили кофе, в час дня завтракали, в 6 часов обедали и в 9 часов пили чай. За столом обыкновенно велся общий разговор, — вспоминает секретарь Толстого Николай Николаевич Гусев, — приезжие рассказывали какие-либо московские и петербургские новости. Во главе стола на месте хозяйки сидела С. А. Толстая».

«Быстро позавтракав и поговорив с посетителями, если таковые были, Лев Николаевич отправлялся пешком или верхом на прогулку. На своем любимом Деларе или просто пешком исхаживал Лев Николаевич по всем направлениям засеку, в обращении с природой обдумывал свои художественные произведения, статьи, письма, отдельные мысли».

По вечерам Толстой любил играть в шахматы. Это занятие давало ему отдых от обычного умственного напряжения и утомления. Шахматы остались его любимой игрой от молодых лет до глубокой старости. Толстой играл в шахматы с Тургеневым, Урусовым, Сухотинным, Танеевым, Гольденвейзером, Чертковым...

По вечерам, когда вся семья и гости собирались в зале, здесь звучала музыка, раздавалось пение. Толстой часто аккомпанировал кому-нибудь из домашних, чаще других свояченице Т. А. Кузминской, репертуар которой состоял из лучших романсов Глинки, Даргомыжского, Чайковского...

Подсчитано, что в седле в Ясной Поляне Толстой провел в общей сложности около семи лет. Известны и привычны каждое дерево, каждый куст, каждая канава, каждое крестьянское лицо.

Пятьдесят лет — в Ясной Поляне. Медленно поворачивается к ней сфера жизни — жизнь усадьбы и семейная жизнь. Ведь не только верховые прогулки и шахматы, музицирование и застольные разговоры. Толстой мыслит, пишет, отвечает на письма, пашет землю, косит траву, возит воду (сам), сажает деревья. Медленно поворачивается сфера жизни. Посаженные деревья успевают вырасти, превратиться в лес, заматереть. Нарождающиеся дети успевают вырасти, нарожать детей в свою очередь, а те в свою очередь. Успевают отрасли, а потом и посесть борода. Замыслы успевают созреть и превратиться в грандиозные стройные сооружения — в романы. Романы успевают разойтись по всему свету. Известность успевают превратиться во всемирную славу. Но успевают измениться и сами взгляды на жизнь, убеждения, понимание жизни и ее смысла.

Медленно поворачивается сфера яснополянкой жизни, сфера

быта. Утренние прогулки по аллеям парка, работа за письменным столом, верховые прогулки, чаепития, гости, письма, музыка, купанья, шахматы, чтение, земледельческие работы, дерево бедных с его колоколом, попытки помочь голодающим, издание книг, публикации статей, семейные ссоры, смерть многих детей, летние грозы, зимние метели, дожди и росы, всходы хлебов и засухи, плодоношение яснополянского сада, покупка земель в Самарской губернии, вегетарианство, позирование художникам (Репин, Крамской, Ге, Нестеров, Пастернак), ссоры с Тургеневым, покупка дома в Москве, постоянные пристройки к яснополянскому дому...

Дом наполнен людьми (семья и гости), жизнь заполнена работой, разговорами, чтением, заботами. Пятьдесят тысяч писем и сотни тысяч поклонников, даже последователей, а Толстой одинок. Это судьба каждого великого человека.

Лев Толстой как могучее, высокое дерево. Корнями, основанием, нижней частью ствола он вместе с остальным лесом, с подростком, с травой даже, с почвой, но крона его высоко вверх, в недостижимой для других деревьев и кустов высоте.

Он пьет чай, пашет землю, играет в шахматы, музицирует в четыре руки с Софьей Андреевной, а сам весь далеко (вернее, высоко) отсюда, в сфере своих помыслов, со своими героями.

В некотором отдалении поворачивается следующая сфера реальной жизни.

Своей жизнью живет крестьянская деревня Ясная Поляна, своей жизнью живет большая Киевская дорога, стоит только выйти на нее, и вот — чужие незнакомые люди, россияне, архангелогородцы, рязанцы, вятичи, владимирцы, куряне, орловцы... Как перед зрительным залом, как по сцене проходят вереницами и группами люди, проезжают экипажи, проносятся поезда.

Еще дальше, в умозрительной уже дали, поворачивается вся обширная панорама жизни человеческой с готическими соборами и дымными фабричными трубами, с полицейскими и бандитами, с игрой в демократию и зародившимся кинематографом, с последними дилижансами и первыми авиаторами...

Медленно поворачивается сфера жизни одна внутри другой, но все они прозрачны для пронизательного взгляда, все просматриваются из этой точки, из Ясной Поляны, как с господствующей высоты видно все на театре военных действий.

Жизнь разнообразна, люди многочисленны, но заблуждения у людей одни и те же, и стоит им только понять... Эта мысль, овладев постепенно писателем, художником, сама превратилась в его главное заблуждение...

С философскими, религиозными, политическими взглядами Толстого можно спорить с одними меньше, с другими больше, но Толстой-художник неоспорим.

У некоторых племен, как рассказывают лингвисты, существуют интересные особенности языка. Например, снег летящий обозначается одним словом, снег метельный — другим, снег, неподвижно лежащий, — третьим, снег тающий — четвертым и так далее, но нет у них в языке общего слова, обозначающего снег как таковой. Точно так же существовали до Толстого Кати Долгоруковы, Маши Олсуфьевы, Лизы Шереметьевы, Даши Голицыны, их были сотни и тысячи, десятки тысяч, но не было одной Наташи Ростовой, которая собрала бы в себе общие черты всех своих современниц, не было Оленина, не было Пьера Безухова, Катюши Масловой, Кити и Левина, Андрея Болконского, старого князя Болконского, Тушина, Анны Карениной и Каренина, Ивана Ильича, Ерошки, Марьяны, Нехлюдова и множества других живых людей, более живых, нежели они были в действительности, и уж, бесспорно, более долговечных.

Литературу не зря называют памятью человечества. Подобно машине времени, она переносит нас то во Францию XVIII века, то во Францию времен Бальзака, то в «старую, добрую Англию» (при помощи Диккенса хотя бы), то во времена Марии Стюарт, то к испанским грандам, то вот, как видим, в русский XIX век, причем мы оказываемся там среди таких явственных бытовых и временных подробностей, среди такой реальной обстановки, среди таких живых людей, что, право же, если бы оказались в подлинном обществе того времени, то наши впечатления не были бы ярче.

Конечно, Толстой появился не на пустом месте и не один он образовывал литературный процесс в нашем Отечестве в XIX веке. Проза Пушкина, Печорин и княжна Мери, портретная галерея Гоголя, Ольга и Вера в романах Гончарова, герои и героини Тургенева — все это либо предшествовало, либо сопутствовало Толстому, все это тоже «машина времени», тоже наша память, но, может быть, Максим Горький не так уж сильно преувеличивал, когда говорил, что Толстой рассказал нам о русской жизни столько же, сколько вся остальная русская литература.

Изобразительная сила его художнической кисти, мощь его обобщений таковы, что те десятки героев и персонажей, которых писал Толстой, действительно более живые, во всяком случае, более характерные люди, чем если бы мы просто и воочию встретились с их современниками.

В Ясной Поляне люди встречаются со Львом Толстым. До этого они встречаются с его книгами, с его героями, с его временем, как только что говорилось, но в Ясной Поляне они встречаются со Львом Толстым как с человеком, окруженным житейскими обстоятельствами, привычными вещами, домашним обиходом, бытом. Уже свыше семидесяти лет, как Лев Николаевич не живет в Ясной Поляне, но кажется, что дух его витает там, делая значительной, многозначительной каждую вещь, каждую мелочь.

Мы рады прийти в какое-нибудь знаменательное памятное место, которое горело, разрушалось, воздвигалось заново, воссоздавалось и реставрировалось. Мы рады узнать, что это памятное место обставлено хоть и не подлинными вещами того или иного великого человека, но вещами его времени. Не именно на этом стуле сидел человек, не именно этой тростью он пользовался, но достоверно известно, что в его время сидели на таких стульях и ходили с такими тростями. Что же делать, если подлинные вещи утрачены.

Дополнительная ценность Ясной Поляны состоит в том, что все осталось на месте, как будто обитатели ее все еще живут тут и пользуются всеми вещами.

Одежда и обувь, рабочий стол и диван (на котором, кстати, родился Лев Толстой), книги и фотографии, рояль и лампы, ноты и шахматы, коса и перо, валенки и тулуп, парковые деревья и скамейки под ними, пруды и прогулочные дорожки — все это не такое же, не на месте подлинного, но то самое, до чего дотрагивался Толстой, чем он писал, чем косил, где ходил, сидел, что надевал и обувал. Воздух, конечно, которым дышал Толстой, изменился за столько лет, но дух не выветрился, дух живет.

Ясная Поляна, Лев Толстой... Прийти и поклониться, прийти и омыться, прийти и почувствовать себя Человеком с большой буквы.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Золотая чекань	3
Уроки Тургенева	9
«По небу полуночи ангел летел»	18
Народен, как сам народ	28
Очарованный странник	32
Прийти и поклониться	41

Владимир Алексеевич СОЛОУХИН

ПРИИТИ И ПОКЛОНИТЬСЯ

Редактор В. П. Енишерлов

Технический редактор О. Н. Ласточкина

Сдано в набор 20.11.85. Подписано к печати 01.02.86. А 00622. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,06. Усл. кр.-отт. 2,28. Тираж 80 000. Изд. № 340. Зак. № 1936. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

**● СВАДЬБУ, ЮБИЛЕЙ ИЛИ ДРУГОЕ
СОБЫТИЕ МОЖНО
ОТПРАЗДНОВАТЬ В ЗАЛЕ
ДЛЯ ТОРЖЕСТВ**

Зал для торжеств рассчитан на 50—100 человек, красиво оформлен. Кроме банкетного зала, есть танцевальный, комната отдыха и гардеробная.

В распоряжении хозяйки — просторная кухня с газовой плитой, холодильником, разделочными столами, мойкой, необходимой кухонной утварью.

За дополнительную плату можно пригласить повара, заказать оркестр, получить напрокат магнитофон, проигрыватель, музыкальные инструменты.

Росбытреклама